



Карен Перри

НЕВИННЫЙ СОН



Карен Перри
Невинный сон
Серия «Читать интересно!»

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11869041
Невинный сон: АСТ; Москва; 2015
ISBN 978-5-17-081402-2

Аннотация

Всего пять минут – и жизнь Гарри и Робин, счастливой семейной пары, изменяется навсегда: во время подземного толчка в Танжере бесследно исчезает их маленький сын Диллон.

Проходит пять лет – и Гарри с Робин, ждущей второго ребенка, казалось бы, готовы смириться с потерей, но... в бурлящей толпе людей в Дублине Гарри вдруг замечает мальчика, который очень похож на пропавшего Диллона. Неужели это действительно их сын? И если да, то где он был все это время?..

Так начинается потрясающая история любви и предательства, потерь и обретения надежды. История, которая трогает до глубины души...

Содержание

Глава 1. Гарри	9
Глава 2. Робин	15
Глава 3. Гарри	22
Глава 4. Робин	30
Глава 5. Гарри	35
Глава 6. Робин	42
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Карен Перри

Невинный сон

© Karen Gillece and Paul Perry, 2014

© Перевод. Е. Золот-Гасско, 2015

© Издание на русском языке AST Publishers, 2015

* * *

Танжер, 2005 год

Надвигается буря. Ее приближение ощущается в неестественной неподвижности воздуха. На узких улочках Танжера ни души, не слышно ни шелеста одежд, ни шепота морского бриза.

Сквозь бельевые веревки, протянутые между домами, над черепичными крышами он видит клочок неба. У него какой-то странный синеватый отблеск, напоминающий северное сияние.

Он, помешивая теплое молоко в чашке, смотрит на поминутно меняющиеся невиданные краски неба.

Положив ложку на стол, он поворачивается спиной к открытому окну и направляется к мальчику, который старательно собирает пазл.

– Держи, – протянув ему чашку, говорит отец.

Мальчик не поднимает головы.

– Брось, Диллон. Выпей.

Мальчик смотрит на отца и хмурится.

– Нет, папа, я не хочу.

Отец снова протягивает ему чашку.

Мальчик нерешительно берет ее. Гарри, делая вид, что не замечает его сомнений, поощрительно кивает головой. Мальчик большими медленными глотками пьет молоко. Из уголка его губ течет маленькая струйка, и отец вытирает ее салфеткой. Диллон делает еще один глоток и возвращает чашку отцу.

– Все, папа, выпил, – говорит он.

Гарри забирает у сына чашку и идет к раковине, чтобы ее сполоснуть.

На дне чашки едва заметный налет порошка. Гарри наполняет чашку водой и следит, как порошок всплывает на поверхность, а потом выплескивается в раковину и исчезает.

Вода все еще бежит из крана. Гарри набирает ее в кастрюлю и ставит кастрюлю на плиту. Газ зажечь непросто, и прежде чем он вспыхивает, приходится не один раз с силой повернуть ручку плиты.

Гарри достает кус-кус, потом берет горсть изюма и насыпает ее в миску. Полупустая бутылка бренди стоит на століке рядом с бутылкой оливкового масла. Гарри выливает бренди на изюм. Но прежде чем закрыть бутылку, он подносит ее к носу и вдыхает запах бренди. А потом поспешно, чуть ли не тайком, делает несколько глотков и, закрутив крышку, ставит бутылку на место рядом с оливковым маслом.

Гарри снова смотрит на переменчивые краски неба. Ему хочется обратить на них внимание сына, но он сдерживается. У мальчика, который завершает пазл, уже слипаются глаза.

Гарри снова принимается за готовку. Налив немного оливкового масла в правую ладонь, он протирает им нож, потом мелко режет финики и высыпает их в миску. Прежде чем положить на доску абрикосы, Гарри проводит пальцем по лезвию ножа.

Улицы за окном безмолвны. Обычно в это время из соседних квартир доносится суетливый шум, но сегодня вечером не слышно ни крикливых голосов, ни звона посуды, ни шипения масла на сковородках, ни плача голодных младенцев. Мир вокруг погружен в тишину. Словно все жители Танжера затаили дыхание.

Гарри поворачивается к Диллону:

– Пора спать.

Не пытаясь протестовать, Диллон молча кивает. Гарри берет сына на руки и относит в его комнату. Там он раздевает мальчика и укрывает одеялом. Он гладит Диллона по щеке и наклоняется, чтобы поцеловать его в лоб.

– Спокойной ночи, мой славный принц.

Но мальчик не отвечает. Он уже спит.

Гарри возвращается на кухню и наливает себе джин с тоником. Позади долгий тяжелый день. Он чувствует, как напряжено его тело, – это сказываются и жара, и требования сына, и невозможность сосредоточиться.

Хотя стало прохладнее, воздух по-прежнему гнетуще тяжелый. Теперь, когда мальчик уснул, он сможет спокойно заняться ужином. Сегодня день рождения Робин, и ему хочется приготовить что-то особенное.

Он включает духовку, снимает крышку с кастрюли, в которой уже лежит баранина, натирает мясо крупной солью, розмарином и душицей и ставит баранину в духовку. Пока Гарри занимается готовкой, он не сводит взгляда с неба: интересно, когда эти тучи разразятся дождем?

Дожди в Танжере бывают затяжными. Порой день за днем льет как из ведра. Это казалось удивительным, когда пять лет назад они переехали сюда. Сейчас он жаждал, чтобы грянула гроза, чтобы она очистила воздух и разрядила тягостную, давящую атмосферу.

Порция джина не спасает от головной боли. Гарри бросает взгляд на старые часы над плитой и наливает себе еще один стакан.

Резкий телефонный звонок заставляет его вздрогнуть.

– Все в порядке? – спрашивает Робин.

– Да, Диллон спит, а я готовлю ужин.

– Он спит?

От удивления в ее голосе ему не по себе.

– Да, он устал.

– Слушай, – говорит Робин, и по ее тону понятно, что она хочет о чем-то попросить. – Симо заболел и ушел домой. Я пообещала Раулю, что задержусь и поработаю за него.

– Но сегодня твой день рождения.

– Это всего на пару часов. Не больше.

Гарри ничего не отвечает.

– Когда я приду домой, все еще будет мой день рождения, – утешает Робин.

Гарри осушает стакан и соглашается: да, когда она вернется домой, действительно все еще будет ее день рождения.

Он прощается, вешает трубку и наливает себе еще один стакан. Последний до ее прихода. Он не хочет напиться и испортить ей вечер.

Из-за головной боли и этого витающего в воздухе непонятного напряжения Гарри не находит себе места, и ему безумно не хватает умиротворяющего присутствия Робин. Сегодня вечером ему почему-то не хочется оставаться одному. Чтобы отвлечься, он начинает убирать игрушки, складывать в стопки книги, раскладывать на диване подушки.

Гарри наводит порядок на кофейном столике и подметает кафельный пол. Комнаты приобретают свой обычный вид – опрятное жилище, ставшее их домом: старенькая, но удобная кушетка, занавеска из бусин, отделяющая закуток кухни от комнаты, уголок у окна, где

возле стены стоят несколько полотен. Гарри наводит порядок даже на их обеденном столе. Он слегка сердит на Робин. Если бы он знал, что она задержится, то не стал бы так рано укладывать Диллона.

Все же расстраиваться не стоит, и он принимается накрывать на стол. Ножи, вилки, салфетки. Но где свечи?

Днем он купил на базаре четыре белых свечи, рулон полотна цвета шафрана, чтобы набросить на диван, и большой посеребренный поднос с тонкой филигранью в виде свитков и всевозможных узоров. Поднос предназначался в подарок Робин. Гарри торговался за него минут двадцать, а сейчас вдруг сообразил, что оставил его вместе с другими вещами у Козимо.

Гарри в общем-то не собирался заходить к Козимо. Эта идея пришла ему в голову ни с того ни с сего. И он почти сразу пожалел, что привел с собой Диллона. Козимо не привык к детям, особенно к их присутствию в собственном доме. Пока Гарри болтал с Козимо, Диллон умирал от скуки и раздражения, и вскоре он стал тянуть Гарри за рукав и громко ныть, так что их визит пришлось резко завершить, – Гарри схватил сына на руки и вынес из дома, оставив Козимо наслаждаться благодатным покоем.

– Черт побери! – восклицает Гарри, раздумывая, что ему теперь делать.

Самое простое – позвонить Козимо.

Но Гарри знает, к чему это приведет: Козимо настоит на том, чтобы принести ему забытые вещи, в благодарность за это попросит выпивку; и не успеют приятели оглянуться, как увлекутся разговором и забудут обо всем на свете. Гарри бросит готовку, а Козимо и в голову не придет вовремя откланяться, словом, вечер скорее всего будет испорчен.

Гарри идет проведать сына. Мальчик крепко спит, и Гарри знает, что лучше его не будить. К тому же дом Козимо недалеко, надо лишь спуститься с холма. Он успеет вернуться минут за десять. Но нужно идти прямо сейчас, пока не зарядил дождь.

Бросив последний взгляд на ребенка, Гарри поспешно спускается по лестнице в пустую книжную лавку. В лавке сумрачно – вечерний свет угасает, а небо потемнело и нахмурилось. Гарри выходит наружу, запирает за собой дверь и решительно пускается в путь по узким улочкам Танжера.

Тишина на улицах его тяготит. Гарри поднимает глаза и встречается взглядом с женщиной в парандже, глазеющей на него из окна. Женщина мгновенно отходит назад и исчезает из виду.

Где-то неподалеку в переулке лает собака. Гарри никак не может избавиться от какого-то тягостного предчувствия. Джин не только не снял напряжение, а, наоборот, обострил тревогу.

Но о чем ему волноваться?

Он оставил мальчика одного. Гарри чувствует себя виноватым, он ускоряет шаг и уже почти бегом заворачивает за угол.

Когда он проходит мимо бара, неоновая афиша над ним издает громкое шипение. Как странно, наверное, он выглядит со стороны, – белый мужчина, летящий по улицам Танжера. Гарри, не останавливаясь, добегаёт до расписных ворот и резко жмет на кнопку звонка.

Проходит минута-другая, и Гарри слышит, как за воротами по каменным плитам мягко постукивают кожаные тапочки. Появляется маленькая фигура, одетая в джеллабу, и по мере того как Козимо приближается к воротам, недоумение на его морщинистом лице тает, и он приветливо машет рукой.

– Мой друг, – говорит он и отпирает ворота.

И в тот момент, когда Козимо с грохотом отодвигает засов, Гарри вдруг слышит ответный шум – громче, резче и гораздо страшнее.

Это не вспышка молнии и не раскат грома. Раздается треск, но этот треск вопреки ожиданию Гарри, не исходит с неба. Он ощущается подошвами.

Из недр земли доносится глухой рокот. Почва под ногами вдруг начинает трястись. Гарри протягивает руку к стене, но стена смещается, а ворота лязгают на металлических петлях.

Тошнотворно раскачиваясь, земля, словно жидкость, расступается под ногами. Мир вокруг наполняется утробным ревом, звоном разбитого стекла, грохотом падающей с крыш черепицы и треском дерева.

Земля пульсирует, уходит из-под ног, и Гарри кажется, что его сердце выскочит из груди.

Он слышит, как где-то на улице со свистом вырывается из лопнувшей трубы газ, и, повернувшись спиной к стене, видит, как здание напротив вдруг накренилось и покачнулось. Зашаталось из стороны в сторону. В воздух взметнулся столб дыма, запахло газом, но в то мгновение, когда здание, казалось бы, должно было рухнуть, оно вновь замирает на месте.

Земля замирает. Рокот смолкает. Буйство в недрах земли постепенно стихает.

Гарри, распластавшись по стене и прижав руки к бокам, стоит не шевелясь. Здание, с которого он не сводил глаз, возвращается в свое прежнее положение.

Тело Гарри парализовано страхом, и проходит минута-другая, прежде чем ему удастся успокоиться. Мускулы расслабляются, и он снова может двигаться.

– Ничего себе толчок, – говорит Козимо, лицо у него пепельного цвета, а в широко раскрытых глазах все еще неподдельный страх.

Гарри собирается ему что-то ответить, но не говорит ни слова.

«Что случилось?» – хочет спросить Козимо, но у него пересохло в горле, а Гарри уже и след простыл.

Гарри бежит мимо бара. Неоновая реклама свалилась на дорогу. Прежде чем угаснуть окончательно, она трещит и искрит. Вдоль всей улицы не горит ни единого фонаря. Кругом тихо, в воздухе словно висит пелена тягостного безмолвия. Но это ненадолго.

В хрупкое затишье врывается шум бегущих мимо людей. Гонимые страхом, они мчатся вниз по холму: их пугают повторные толчки, они в ужасе от того, что их непрочные жилища вот-вот рухнут.

Похоже, только один Гарри бежит вверх по холму, он задыхается, сердце бешено колотится в груди.

Внезапно Гарри слышит крики и плач. Открываются двери, и из домов выскакивают люди: одни ошеломленные и растерянные, другие – в безумной панике. Мимо Гарри пробегает мужчина, он несет на руках троих детей. Спотыкаясь, на порог выбегает женщина, она плачет, все лицо у нее в крови, над глазом глубокая рана.

На углу мужчина снова и снова кричит: «Это послал нам Аллах, это все Аллах!»

Гарри останавливается, чтобы отдышаться. Женщина обнимает его за шею. Он отталкивает ее и бежит дальше.

Вокруг качаются здания, взвивается в воздух пламя. Люди плачут, молятся, взывают о помощи. Животные вместе с людьми кричат и воют.

Гарри мчится сломя голову. Пробегая мимо гостиницы «Средиземноморская», он видит на крыше троих мужчин. Эти обезумевшие вот-вот провалятся сквозь крышу в охваченное огнем здание и сгорят заживо; офицер, стоящий перед гостиницей, приказывает своим подчиненным стрелять в этих троих, и на глазах у ошолобенной толпы солдаты выполняют приказ. Быстро и метко.

Кажется, что наступил конец света.

Повсюду пыль.

Гарри, вдыхая ее, кашляет и отплевывается, из глаз у него текут слезы, в горле пересохло. Дым щекочет ноздри. Гарри видит горящие дома, языки пламени лижут окна и двери.

Вдалеке воют сирены. Но слышны и другие звуки: грохот здания, глухой стук сыплющихся на землю кирпичей, треск отскочившей от крыши кровли.

Гарри бежит дальше. Здание накренилось и, словно старик, который не в силах больше держаться на ногах, прислонилось к соседнему.

Из трещин в асфальте, пузырясь, сочится вода, вода и песок. Эта грязная каша течет по переулку и подбирается к ногам Гарри.

У здания кондитерской на углу его улицы отвалился фасад, обнажив комнаты и неприятную мебель.

Гарри видны кровать, диван и колышущиеся на ветру занавески.

Он сворачивает на свою улицу. Здесь пыль еще гуще, и прямо на него движется огромное ее облако.

Гарри замирает как вкопанный.

Что-то трепещет и шелестит вокруг его ног. Он опускает глаза и видит сотни разбросанных по дороге книг.

В просвете между домами видно небо – темное и плоское. Устоявшие здания кажутся желтыми и безжизненными.

Гарри обводит разруху взглядом. В памяти вдруг всплывает образ из недавнего прошлого: он стоит в узком коридоре, держа на руках спящего сына; Гарри едва ли не ощущает прикосновение его кожи, тепло его тельца.

Но тут нечто немыслимое одним ударом возвращает его в реальность. Здания, в котором он работал, спал, любил, писал картины, растил сына, укладывал его спать, – этого здания, в котором он жил и которое считал своим домом, больше нет. Оно просто исчезло. Земля поглотила его. Безвозвратно. Навсегда.

Глава 1. Гарри

Дублин, 2010 год

Когда я уходил из дома, Робин еще спала. Я хотел разбудить ее и рассказать, что выпал первый снег. Но когда я отвернулся от окна и посмотрел на нее – разметавшиеся по подушке волосы, легкое, ровное дыхание, сомкнутые веки и умиротворенное выражение лица, – я передумал. Последнее время она часто уставала, или по крайней мере мне так казалось. Она жаловалась на головную боль и бессонницу. И потому я решил ее не будить и тихо закрыл за собой дверь спальни. Я спустился вниз, забрал с кухонного стола пустые бутылки и выставил их за дверь. Потом без завтрака и даже без чашки кофе вышел на улицу. Оставлять записку не было никакой нужды. Робин знала, куда я направлялся.

Холодный воздух бодрил. Я уже в который раз пожалел, что слишком много выпил накануне, но свежий морозный воздух помог прийти в себя. Я был полон благих намерений. Я решил начать все с чистого листа, заняться своим здоровьем и вести активную, насыщенную жизнь. И дело было не только в утреннем воздухе. Разве прошлым вечером я не сказал то же самое моей Робин?

– Ты человек с благими намерениями.

– С самыми наилучшими.

Робин улыбнулась моим словам. У нее была щедрая улыбка, своей улыбкой она признавала мои слабости и одновременно прощала их. После истории с Диллоном ее нежность ко мне не иссякла, хотя такое легко могло случиться. И я бы ее не винил. Она не ожесточилась. Несмотря на то что нам пришлось испытать, она осталась самой собой.

Однако порой слова Робин или поступки оказывались настолько неожиданными, что невольно заставляли меня задумываться и посмотреть на нее другими глазами.

Мой приятель Спенсер однажды заметил: «Такова супружеская жизнь». Будучи одиноким, или, как он предпочитал называть себя, «холостяком», Спенсер любил рассуждать о супружестве. Стоило мне как-то раз пожаловаться, что мое свадебное кольцо мне тесно, и он тут же заметил: «Так и должно быть».

Мы с Робин по-прежнему вели доверительные беседы, но когда люди давно женаты, случается, что вечером во время разговора ты уже знаешь, что собирается сказать твоя половина, поэтому перестаешь слушать и отправляешься спать. Именно так и было вчера. Я что-то оживленно говорил, а Робин резко поднялась с места, наклонилась ко мне, оборвала мою речь поцелуем, а потом просто сказала: «Спокойной ночи». Мне не стоило из-за этого расстраиваться. Я, наверное, нес какую-то чушь, однако уход Робин подтолкнул меня к еще одной бутылке вина, а потом уже за полночь – еще одной.

Но сегодня все будет иначе. Сегодня я начну жить по-другому. И первый снег возвестил об этом: он разбудил меня и напомнил о том, что начинается новая жизнь. Я закрывал магазин и запирал двери своей студии в центре Дублина. «Конец эры», – пошутил Спенсер. С сегодняшнего дня я буду работать в нашем гараже. Это сэкономит нам деньги, а в них мы, что и говорить, весьма нуждаемся; они пригодятся для ремонта дома, в который мы только что въехали. Когда-то этот дом принадлежал деду и бабке Робин, а теперь достался нам. У Робин с ним связано немало воспоминаний. И хотя жизнь в пригороде Монкстауна и близко не напоминала наши дни в Танжере и даже нашу совместную жизнь в Дублине, я тем не менее был вполне доволен. Это большой старый дом, и Робин не терпелось взяться за дело и привести его в порядок. А ее энтузиазм оказался заразительным. Ну что я мог ей сказать? Конечно же, «да, да, и еще раз да!». Возьмемся за дело!

Снег захрустел у меня под ногами, и я улыбнулся. Снега уже напало два-три дюйма, и, судя по его первозданному виду, на нашу улицу я сегодня выеду самым первым. Я подошел к пикапу, но дверь моего старенького «Фольксвагена» почему-то не открылась. Я потянул ее сильнее, и в конце концов она поддалась. Я завел мотор и вернулся домой за чайником с теплой водой, чтобы полить на ветровое стекло. Люблю наш оранжевый пикап. Робин меня умоляла его не покупать. Но разве он хотя бы раз сломался? Разве он хоть когда-нибудь застопорился, взбунтовался и отказался нас везти? Нет, он крепок и надежен. Мы в нем даже спали. Не буду хвастаться, будто нам было удобно, но все-таки мы в нем спали. Утрамбовывая колесами снег, я медленно, осторожно, задом выехал с парковки.

Чудесное морозное утро. Я безо всяких приключений добрался до центра города. Дороги были пустынные, и я доехал быстрее обычного, поставил машину на Финьян-стрит неподалеку от студии и, по моим представлениям, зашагал к своему подвалу в последний раз.

Когда-то эта студия была квартирой, но Спенсер ее выпотрошил. Голые стены и цементный пол. Весь день в туалете, не переставая, булькала вода, а когда я там оставался ночевать, то слышал это бульканье всю ночь напролет. У меня были старый матрас, диванчик, чайник и походная газовая плитка. Мне нравилось, что квартира полупуста, и я расстилал свои полотна прямо на полу. Я обходился без мольберта. И не пользовался палитрой. А порой и кистями тоже. Я писал полотна палками, ножами, битым стеклом. В этом пустынном месте у меня разыгрывалось воображение: я сначала делал наброски, потом их поправлял и писал полотно за полотном. А теперь этому пришел конец.

Я заранее не обдумывал, как именно буду переезжать, но все утро я загружал пикап полотном, рамками, красками в банках и тюбиках, каталогами, законченными и незаконченными картинами. Я не считаю себя сентиментальным, но на душе у меня было паршиво. Эта студия мне верно служила с того времени, как мы вернулись из Танжера. Все мои новые работы я создал именно в ней. Здесь были подготовлены две персональные выставки и несколько совместных с другими художниками. Спенсер, в свое время проявив отменную деловитость, теперь владел этим зданием и жил в нем на верхнем этаже. Он сдал мне студию за гроши и при случае любил напомнить, что он домовладелец, а я его жилец. К одиннадцати утра я провел в студии более двух часов. Именно тогда он и позвонил.

– Говорит ваш домовладелец. Приказ о выселении уже подписан.

– Веселый ты парень, – сказал я.

– Я и без тебя это знаю.

Через десять минут он спустился, чтобы помочь мне, – в черном шелковом халате, в старых кожаных тапочках, с сигаретой в зубах. Воистину помощник: он принес барабан и ящик пива.

– Я великий барабанщик, – заявил он.

– Давай забирай вещи.

– Если бы я сдирал с тебя столько, сколько эта квартирка стоит, я бы безумно разбогател.

– Ты уже разбогател.

– Вчера вечером до меня вдруг дошло. Я мог здорово на ней подзаработать.

– Вряд ли ты разорился из-за того, что сдал крохотную квартирку приятелю.

– Ну, начинается. Ты мне еще скажешь... ты, бессовестный жилец.

Зазвонил телефон.

Это Диана, менеджер галереи, в которой я выстав-ляюсь.

– Может, передумаешь?

– Я уже упаковал вещи.

– По-моему, это серьезная ошибка.

– Ты мне уже об этом говорила.

– И не только потому, что студия в двух шагах от меня и я всегда могла к тебе заглянуть... но и для бизнеса.

– Дело сделано.

Диана пустилась в долгие рассуждения. Я объяснил ей, что больше не могу говорить.

– Кто звонил? – поинтересовался Спенсер.

Если бы я сказал ему, что звонила Диана, то неизбежно последовала бы тирада, которую у меня не было ни малейшего желания выслушивать; поэтому я солгал.

– Робин, – сказал я.

– Милая Робин.

Когда Спенсер поднял к себе в квартиру на лифте последний ящик со своими собственными вещами и выбрал картину, которая пришлась ему по вкусу – «я или продам ее и верну тебе деньги, или возьму себе как рождественский подарок», – я приостановил сборы и сварил нам кофе.

– Самый крепкий кофе на этом берегу Лиффи, – сказал Спенсер.

Он достал из кармана серебряную фляжку и долил ее содержимое в кофе.

– Можно только догадываться, что именно ты имеешь в виду.

– Именно это я и имею в виду. – Спенсер протянул мне флягу, но я прикрыл свою чашку рукой.

– Я за рулем, – объяснил я.

– Я просто не понимаю: кому может прийти в голову в такой день водить машину?

– Ты что, забыл? Я ведь съезжаю.

– Так, послушай, я хочу тебе кое-что сказать.

– Говори, – согласился я, заворачивая кисти в тряпку.

– Скажи, пожалуйста, миледи, королеве Богом проклятого племени, что ты покинул колыбель творчества и отверг мою безмерную щедрость.

– Тебе уже говорили, что ты страдаешь словесным поносом?

– Не смей меня оскорблять.

– Я и не собирался. Ты имеешь в виду Диану?

– Если ты именно так ее называешь. Мне нравится...

– Она прекрасно знает, что я отсюда съезжаю, – сказал я, протягивая руку к фляжке Спенсера и капаю из нее в чашку.

Я вдруг почувствовал, что мне надо срочно успокоить неожиданно расшалившиеся нервы.

– Знаешь, чего я боюсь? Поздно вечером она придет сюда тебя разыскивать. А найдет меня. И что тогда? Она вгрызется в меня зубами и высосет из меня всю кровь.

– По-моему, ее уже кто-то опередил. Ты давно смотрел на себя в зеркало?

– Ты – бессердечный засранец.

– Я говорю тебе правду.

Спенсер покачал головой. Он зажег еще одну сигарету, поднялся со стула и принялся кружить по опустевшей комнате. В ней было так пусто, что у меня защемило сердце. Виски словно прожег мне дыру в желудке. Я заметил, как Спенсер неожиданно остановился и заглянул в один из ящиков, которые я еще не успел отнести в пикап. Вынув изо рта сигарету, Спенсер начал перебирать сложенные в ящике рисунки, и все во мне заклокотало от скорби и гнева. Это были портреты Диллона. Спенсер вытащил один из рисунков и, держа его перед собой, стал, сощурившись, внимательно его изучать. Не успел он высказать свое мнение или вообще произнести хотя бы слово, как я бросился через всю комнату и вырвал рисунок у него из рук.

– Эти не для тебя, – резко сказал я и тут же отвернулся, чтобы Спенсер не заметил, как горят у меня щеки и трясутся руки.

Я осторожно убрал рисунок в ящик, мои пальцы секунду помедлили, прежде чем вернуть его к остальным.

Воцарилась тишина, и я чувствовал, что Спенсер раздумывает, сказать что-нибудь или не стоит. Он знал меня достаточно хорошо, чтобы догадаться, когда следует промолчать. Я услышал, как неторопливо зашаркали его тапочки, как зазвенела его чашка, когда он потянулся за ней, чтобы допить кофе.

– У этой штуковины есть какое-нибудь название? – спросил он.

Я поднял глаза и увидел, что он держит в руках выбранную им картину.

Она была написана в Танжере: неясные силуэты, рыночная площадь в бликах солнца, а вдалеке море.

– Нет, она без названия.

– Я что-нибудь придумаю, – сказал Спенсер.

Он указал на барабан:

– Я его заберу позднее.

– Пока, – попрощался я, и он ушел.

Дверь хлопнула, а я, выждав минуту-другую, подошел к ящику Диллона. Это был большой деревянный ящик с углами, обшитыми металлом. Я запустил руку в ящик наугад, выудил пачку листов и уставился на них. На секунду мелькнула мысль, что надо избавиться от них, уничтожить. Перед глазами возникла бочка для сжигания мусора. Все эти образы обратятся в золу. Все говорят мне: «Не думай больше об этом. Живи дальше!» Здравомыслящие люди. Они заботятся обо мне и моем благополучии. Эти люди заботятся о Робин, они заботятся о нас обоих.

Все это время я скрывал свое горе, но тем не менее продолжал рисовать своего сына; что-то необъяснимое заставляло меня это делать, вело мою руку по бумаге снова и снова. Я никак не мог себя остановить. Не знаю, сколько времени я просидел, разглядывая эти рисунки. Я не плакал. Со мной происходило что-то другое. Не уверен, что могу это описать. Какое-то узнавание. Из всего, что я сделал за последние годы, эти рисунки были самыми правдивыми. Я не верю в существование души, но если бы верил, я бы сказал, что в этих рисунках таилась душа.

На всех рисунках стояла дата. Я сидел и просеивал года, просеивал сотни карандашных рисунков и набросков углем мальчика, каким бы он мог стать с возрастом. Мальчика. Слышишь, ты?! Назови его так, как положено: «мой сын».

Эти рисунки не воплотились в картины. Я их никому не показывал, даже Робин. Особенно Робин. Тайные рисунки. И я не мог допустить, чтобы Спенсер высказывал о них свое мнение. Не знаю почему, но они держали меня на плаву.

Я не стал собирать их в кучу и сжигать. Я аккуратно разложил их по порядку на цементном полу. Я пытался нарисовать сына таким, каким бы он, возможно, стал, взрослея с каждым месяцем, с каждым годом. Я стоял, переводя взгляд с одного рисунка на другой, и мой сын снова был передо мною, он вырослел на моих глазах.

«Хватит», – сказал я себе, присел на корточки, собрал рисунки и, не спеша положив на место, снова обратил их в хронологию отчаяния. Закрыв ящик крышкой, вынес его из студии и запер за собой дверь.

Я решил оставить пикап там, где он был припаркован. Я чувствовал усталость от одной мысли о том, что надо вести машину домой, а потом, черт возьми, еще и разгружать вещи. Я шел по улице и прислушивался к жужжанию вертолета, низко кружащего над О'Коннелл-стрит. Я собирался где-нибудь поесть – надо было срочно заполнить пустоту в

желудке, – но, завороченный шумом вертолета, вместо этого я двинулся вдоль улицы и лоб в лоб столкнулся с антиправительственной демонстрацией. Занятый своими личными проблемами, я совершенно забыл про эту демонстрацию. В какой-либо другой день я скорее всего присоединил бы свой голос к коллективному возмущению правительством. Я бы даже сказал – гневу. Я был зол не менее других. По всей стране люди единодушно возмущались выкупом нерадивых банков. Тяжкое бремя для нас всех, и потому я был рад, что забрел на О’Коннелл-стрит и в некотором роде тоже стал демонстрантом.

Машин на улице не было, все движение перекрыли, только тысячи людей маршировали, скандировали лозунги и выкрикивали слова протеста. Телеоператоры со всего мира выставили кинокамеры вдоль маршрута демонстрантов. Туристы, останавливаясь, фотографировали процессию или снимали ее на видеокамеры. Откуда бы туристы ни прибыли, зрелище не должно было слишком их удивить. Финансовые проблемы Ирландии давно стали темой международных новостей.

Полицейские тоже были тут как тут. Одетые в блестящие желтые куртки поверх формы, они стояли разрозненными группками по двое-трое, болтали друг с другом и притоптывали на месте, чтобы согреться. Дел у них в общем-то особых не было. Безобидные демонстранты держались вполне прилично. При всем своем возмущении они вели себя сдержанно и с достоинством. Не какая-нибудь бесчинствующая толпа. Один из демонстрантов нес самодельный плакат, гласивший: «Ирландская республиканская армия. Европа, вон! Британцы, вон!» Буквы были нацарапаны черным фломастером. Подобного рода листовка, подсунутая тебе под дверь, выглядела бы устрашающе, но посреди мирной демонстрации этот развевающийся на палке лозунг выглядел довольно жалко и нелепо.

Я шагнул рядом с демонстрантами и думал: может, и мне скандировать и петь вместе с ними? Толпа, шествуя по улице, постепенно приблизилась к месту сбора перед Главным почтамтом, где уже заранее была установлена сцена, а за распростертыми руками памятника Джиму Ларкину на огромном экране мелькали черно-белые кинокадры демонстраций прошедших лет. Мрачные кадры. От этого воскресшего прошлого, пронесившегося на экране в каком-то странном потустороннем свете, у меня по спине пробежали мурашки.

Затем на сцене, куда теперь было обращено всеобщее внимание, какой-то человек взял в руки микрофон, толпа взревела с одобрением, а он представил женщину, которая запела длинную душераздирающую песню гневного протеста. Гитара у нее в руках дрожала. Шум кружившего над толпой вертолета на минуту-другую заглушил ее пение.

И вот я уже вместе с толпой качаюсь из стороны в сторону. Похоже, я поддался их настроению: я аплодирую и подпеваю. Мой голос вливается в общий хор. Женщина заканчивает свою страдальческую песню под свист и одобрительные крики.

– Нас продали ни за грош! – кричит человек с микрофоном. – Пора за себя постоять!

Он представил еще одну женщину: она заявила о сокращении средств, выделяемых на больницы, и о том, как людям приходится месяцами ждать врачебной помощи. Потом микрофон перешел к мужчине, и он рассказал о маленьких общинах, где закрыли почтовые отделения. А за ним другой мужчина поделился своей историей, и пошло, и пошло; люди поднимались на сцену и рассказывали свои истории, и каждая из них встречалась гулом толпы, аплодисментами и криками одобрения; люди согласно кивали и вздымали вверх кулаки в знак солидарности.

Понятия не имею, сколько времени все это продолжалось. Но я вдруг почувствовал, что устал и охрип. Кто-то в толпе бил в барабан, его дробь отдавалась у меня в голове, и я решил, что пора уходить. Это утро было каким-то странным: неожиданно выпавший снег, выезд из студии, виски в пустом желудке, Спенсер с моими рисунками в руках, а теперь еще рев и напор толпы. «Бум-бум-бум» гремел барабан. Это уже был перебор. Я устал и хотел

есть. Нужно ехать домой или хотя бы посидеть в теплом местечке вроде «Слейттерис». Я затосковал по Робин.

В ту минуту, когда я повернулся, чтобы уйти, передо мной вдруг мелькнула вспышка цвета – шарф на шее у какой-то женщины – шарф с развевающимися на ветру концами. Тонкий, прозрачный, наверное, шелковый, дымчато-голубого цвета. Высокая привлекательная женщина, а рядом с ней мальчик, и оба они решительно вышагивали по О’Коннелл-стрит. Мальчик обернулся, посмотрел на меня, и все вокруг замерло. Умолк барабан. Стих шум толпы, и она вся словно отступила назад. В этот миг нас было только двое: я и мальчик. Наши глаза встретились.

Диллон.

Сердце в груди сделало сумасшедший скачок. Я судорожно вздохнул. В ушах оглушающе застучала кровь.

Мой сын. Мой пропавший сын.

Кто-то прошел передо мной, и на мгновение я потерял сына из виду, и в этот неожиданный вакуум снова ворвались шум и визг толпы, грохот барабана, натиск стоявших рядом людей и беспокойное кружение вертолета.

Я вытянул шею, чтобы снова его увидеть, и, чувствуя, как пот льется с меня градом, стал пробираться сквозь толпу. Голубой шарф струился по воздуху словно струйка дыма, и меня охватила паника. Гонимый неведомой прежде силой, я, расталкивая всех на своем пути, продвигался вперед. В мой адрес несло: «Эй, парень, поосторожней!», «Черт тебя подери!», «Шеф, куда летишь?» Но мне эти оклики были безразличны. Я уворачивался и протискивался сквозь людской поток. Это давалось мне с трудом, но меня было не остановить. Я знал: меня ничто не остановит.

Все эти годы я провел в надежде и сомнении, я искал и расспрашивал, бродил по улицам Танжера, дежурил бессонными ночами в самых злачных местах, хватался за любой намек на ключ к разгадке и каждый раз испытывал разочарование, потому что след все время оказывался ложным. И вот наконец Диллон появился передо мной. Прошел мимо. Сейчас, когда я меньше всего этого ждал, он вдруг очутился здесь, в Дублине, – городе, в котором он никогда раньше не был.

Казалось, что толпа становится гуще и сжимает меня. Атмосфера изменилась. Она стала враждебной и угрожающей. Мне стоило огромных усилий не упустить их из виду – мальчика и эту женщину. Они прибавили шагу. Расстояние между нами росло.

– Диллон! – закричал я. – Диллон!

Не знаю, услышал он меня или нет, но он вдруг обернулся – как будто на мой зов, – и наши глаза встретились. В этой огромной толпе его голубые глаза каким-то образом разыскали мои, по крайней мере на доли секунды. Что было в его взгляде: колебание, неприятие или узнавание? Не могу ответить, хотя задавал себе этот вопрос миллион раз. И лишь только он обернулся в мою сторону, как тут же потерялся из виду. Мой сын, мой пропавший сын еще раз исчез для меня, оставил меня зажатым в толпе, поглотившей меня, словно чрево змеи – ее жертву, потрясенного, барахтающегося в отчаянных попытках выбраться.

Глава 2. Робин

Я проснулась и увидела, как Гарри, сидя на краю постели, надевает ботинки и тянется за курткой. Я притворилась, что сплю, и из-под одеяла принялась с тайным удовольствием наблюдать за его привычным утренним ритуалом. Он сунул пачку сигарет в карман рубашки, а бумажник – в задний карман джинсов, потом резко встал и очутился прямо перед зеркалом. Из-за высокого роста он, чтобы увидеть свое отражение, пригнулся и небрежно провел рукой по волосам. Руки у Гарри были большими и сильными, с вечными следами краски вокруг ногтей. В холодном утреннем свете его тело казалось худым и угловатым. Вот он провел рукой по своей трехдневной щетине, и этот жест был преисполнен для меня все тем же очарованием, что и в первые дни нашего знакомства шестнадцать лет назад.

Гарри отодвинул занавеску и изумленно втянул в себя воздух. Я увидела за ним в окне дерево, согнувшееся под тяжестью снега, а на оконном стекле узорную изморозь. Гарри провел по ней рукой и посмотрел в окно.

Сегодня, в последнюю субботу ноября, выпал первый снег. Я смотрела на Гарри: он стоял у окна, и казалось, что отблеск от белоснежного покрова в саду освещает его лицо, на мгновения стирая следы тревог, не покидавших его последнее время. Гарри было тридцать шесть, хотя выглядел он старше. Но в то утро его восторженное созерцание неожиданного снега – пушистого и нетронутого, отчего все вокруг казалось чистым и обновленным, – было таким откровенным и по-мальчишески увлеченным, что я невольно улыбнулась. Я уже собралась бросить свое притворство, позвать его, а может, даже встать рядом с ним у окна, обнять его и шепнуть на ухо: «Любимый, не уходи!» – и потянуть его обратно в теплую постель, как вдруг я вспомнила о Диллоне, о том, как раньше он спал между нами.

Внутри у меня все похолодело, и я поняла, что не подойду к Гарри. Я не смогу, как бы мне этого ни хотелось. Я лежала не шевелясь, с закрытыми глазами и изо всех сил старалась отогнать от себя возникший передо мной образ. Мягкое, теплое тельце нашего сынишки между нами. Его легкое дыхание. Его запах.

Мой мозг поглотил этот образ, словно стальной капкан захлопнулся на добыче.

Я не двинулась с места. И не открыла глаз.

Прошла минута, и я услышала, как Гарри тихо спускается по лестнице, и мне стало жаль, что я не остановила его. Но ведь это не главное. Главное, что я держу себя в руках. Мы еще с ним свое наведем. Позднее. К тому же сначала мне нужно разобраться кое с чем другим. Снизу послышался звон бутылок и шум захлопнувшейся двери. Пикап чихнул, воспрянул к жизни, и Гарри как не бы-вало.

С Диллоном все было ясно сразу. Однажды утром я проснулась, и мне показалось, что все молекулы тела за ночь слегка изменили привычное положение – едва заметно, почти неуловимо, – но я почувствовала себя по-другому, хотя никак не могла понять, в чем же все-таки дело. Меня точно подменили. Пару дней спустя началась тошнота, она накатывала волнами и днем, и ночью. А вместе с ней появилась и валящая с ног усталость. Если прежде я засыпала с большим трудом, то теперь постоянно клевала носом – на автобусной остановке, в баре, за обедом с друзьями. Я почувствовала ребенка – почувствовала его – еще до того, как поняла, что беременна. С Диллоном беременность словно обрушилась на меня. На этот раз все было иначе. Менструация запаздывала уже больше чем на неделю, а у меня все еще не было ни одного симптома: ни тошноты, ни приступов изможденности. Все по-другому, и меня это радовало. Потому что я не хотела, чтобы эта беременность и этот ребенок напоминали мне о Диллоне. Пусть все, что случилось, останется в прошлом.

Старенький «Фольксваген» мужа с фырканием и скрежетом отъехал от дома, а десять минут спустя я уже сидела в ванной и, дрожа, не сводила глаз с розовой полосы, подтверждавшей мою догадку.

– Спокойно, – сказала я себе. – Расслабься, Робин.

Я отложила в сторону тест, помыла руки и посмотрела на себя в маленькое треснутое зеркало для бритья. Обычно я довольно бледная, но в то утро на меня из зеркала смотрело ярко-красное лицо: казалось, будто кровь прилила сначала к шее, а потом поднялась по ней вверх и окрасила мои щеки. Я прикоснулась пальцами к лицу и улыбнулась. Откуда-то изнутри сочился радостный шепот. В этой холодной и сырой ванной комнате, где от моего дыхания поднимался пар, я обхватила себя руками и рассмеялась. Новая жизнь. Все заново. Словно пелена чистого белого снега за окном действительно обновляла все и вся вокруг.

В нашем доме есть только одна комната, которую обошли наши никчемные попытки привести жилище в порядок. Это убежище, где можно скрыться от проводов электроинструментов, змеящихся по полу и свивающихся клубками, или исцарапанных стен, с которых местами небрежно содрали обои, а местами сбили кафель, обнажая остатки старого клея и осыпавшуюся штукатурку. Эта комната – наш кабинет, и именно туда я и отправилась, все еще одетая в банный халат и в длинные, натянутые до самых коленей носки. Я уселась, дрожа, перед своим компьютером и принялась искать в Интернете календарь овуляции, график менструального цикла – словом, какой-нибудь способ определить, когда именно этот ребенок был зачат. Потом я обнаружила календарь в своем телефоне и пролистала его на несколько недель назад. Я вела себя так, словно за мной кто-то наблюдал, так, будто устраивала какое-то представление, хотя и без того прекрасно знала, когда именно это случилось. Я положила телефон на стол и выключила компьютер. Посмотрев в окно, я увидела, как обнаженное дерево постепенно укутывалось снегом. Дата была известна мне с самого начала.

Это была годовщина. Уже шестая по счету. Мы пришли к такому решению однажды вечером, вскоре после того, как он погиб. Мы сидели вдвоем в кафе, пили кофе – никакого алкоголя! – и вдруг Гарри стукнул кулаком по столу и со слезами на глазах прошипел, что не хочет, чтобы наша жизнь подчинилась случившейся с нами беде. Он отказывается постоянно пребывать в скорби, отказывается стать одним из тех, кто парализован своей утратой и живет прошлым. Его трясло от горя, и он с трудом сдерживал эмоции. Чтобы помочь ему успокоиться, я накрыла его руку своей. Я держала его за руку и шептала ему, рыдающему, что нам не нужны никакие ежегодные мессы или еженедельные визиты на могилу, что мы с этим справимся. Мы не будем заново переживать лучшие минуты прошлого, этим Диллона не вернешь. Я сказала, что лучше мы выберем один день в году – день рождения Диллона – и будем его праздновать вдвоем, только он и я. Гарри поднял глаза, захваченный этой идеей, и внимательно слушал, а я продолжала: до конца нашей жизни, независимо от того, что случится с нами в будущем, именно в этот день мы пойдем где-то посидеть, выпьем, поедим, а потом погуляем. Мы будем говорить о нем, о том, как мы его любили, о том, какую он приносил нам радость; мы напьемся, мы предадимся любви, мы будем плакать и делать все возможное, чтобы пережить этот день. Этот день очищения поможет нам сохранить нашу любовь и тоску по ушедшему из жизни сыну.

Когда Диллон умер, ему было три года. С тех пор мы каждый год отмечаем его день рождения. Довольно необычное празднование, учитывая то, что мы больше не отмечаем наших собственных дней рождения – не только не отмечаем, но даже не упоминали о них. После того что случилось в Танжере, я на это просто была не способна.

Месяц назад по дороге к Килкенни, где мы сняли номер в роскошном особняке – камин, модные клетчатые ковры, на стенах в бильярдной комнате олени головы и прочие преле-

сти, – мы рассуждали о том, что некоторые сочтут наше поведение нездоровым, то есть то, что через пять лет после смерти нашего сына мы все еще празднуем его день рождения.

– Скажем, твой брат, – заметил Гарри.

– Марк? Ты говорил об этом с Марком?

– Нет, но как-то раз он спросил меня в своей неуклюжей манере: «Мне надо посылать вам открытки в день рождения Диллона или не надо?»

Гарри принялся изображать Марка, высмеивая, как тот запинается и нервно кусает губы, когда речь заходит о чем-то важном. Я притворилась, что шокирована и возмущена, а потом рассмеялась и велела ему прекратить издеваться над моим братом.

– Нет, поверь мне, Робин, так оно и есть! А твоя мать... Боже мой! Когда я ей сказал, что мы едем в Килронан-Хаус и остановимся там на ночь, она вся растаяла и стала рассказывать мне, что недавно прочла о нем в «Имаж интерьерс», и добавила, что ее приятельница из карточного клуба его расхваливала; но когда я сказал ей, что мы едем туда праздновать день рождения Диллона, ее лицо застыло от ужаса. Честное слово! Я это, черт подери, не придумываю. Прямо-таки маска мертвеца. Восковая голова Робеспьера после гильотины, да и только.

– Прекрати. Ты же ее любишь. Верно?

Он улыбнулся, а я снова принялась любоваться пейзажем за окном.

Но что-то не давало мне покоя. С самого Дублина у меня было чувство, что я что-то забыла дома, и на полпути к Килкенни я вспомнила: противозачаточные таблетки. Я ни слова не сказала Гарри, я сидела, покусывая губу и тихонько покачивая скрещенными ногами, наблюдая за мелькающими мимо нас полями и колючими заграждениями и пытаюсь сообразить, насколько рискованно принять таблетку не сегодня в девять вечера, как обычно, а завтра днем, когда мы вернемся домой. Неужели пятнадцать часов – большой риск? Конечно же, нет. После девяти лет предосторожностей?

Я сказала себе, что завтра, как только мы вернемся домой, я тут же поднимусь наверх и проглочу таблетку.

Только я этого не сделала.

В тот вечер в Килронан-Хаус мы выпили слишком много вина, а потом предались пьяной, беспорядочной, чувственной любви. Когда же мы вернулись домой, оба усталые и, как всегда после этого дня, немного грустные, мы в то же время чувствовали себя обновленными, точно этот день сделал нас сильнее. Я поднялась наверх в ванную комнату и замерла там, уставившись на серебристую упаковку с таблетками: семь пустых блистеров и четырнадцать нетронутых. Не сводя глаз с выведенных на фольге буковок «суб.», я вдруг сказала себе: «Не буду».

Возможно, именно тогда я и приняла свое решение. В ту минуту я считала, что только так и надо поступить. Я не обсудила его с Гарри; я знала, что он мне скажет. В прошлом, когда я заговаривала на эту тему, он всегда говорил «нет». «Я себе не доверяю».

Он говорил это каждый раз. Но когда его глаза встречались с моими, я читала в них совсем другое: страх от мысли, что я больше не доверю ему ребенка. После того, что случилось с Диллоном.

Но я ему доверяла. Я понимала, что из-за чувства вины он не решается даже мечтать еще об одном ребенке, он точно хотел наказать себя за то, что в тот вечер оставил Диллона одного. Все эти пять долгих лет я наблюдала, как он мечется словно в ловушке, как ненавидит себя, как тяготится невыносимым бременем, и я решила, что этому следует положить конец.

Я спустила таблетки в унитаз. «К черту их», – думала я, наблюдая, как они исчезают в стремительном водовороте. Посмотрим, что будет. Это произошло месяц назад, и с тех пор я ни слова не сказала Гарри. Я искала удобного момента, но он никак не наступал. Теперь,

когда все стало ясно, обсуждать уже было нечего. И вот сейчас, в это снежное утро, я сидела в холодном кабинете, обдумывала случившееся, и мне в душу впервые закрались сомнения.

– Алло?

– Привет, моя радость. Хорошо, что я тебя застала.

– Мама, как дела?

– Я вся продрогла. Твой отец без конца выключает отопление. Эти разговоры об экономике ударили ему в голову.

Я сидела на нижней ступени лестницы, прижимая к уху телефонную трубку. Из нее доносился стук ложечки о края кружки, и я представила себе: мать сидит за кухонным столом, ее светлые волосы идеально причесаны, лицо старательно подкрашено, на плечах кашемировая шаль, а сама она склонилась над кружкой дымящегося кофе.

– Тепло у нас в одной-единственной комнате – на кухне. Джим вбил себе в голову, что если выключишь плиту, то ее уже потом не включишь.

– И ты, конечно, этот миф с радостью поддерживаешь?

– Конечно. И, пожалуйста, не говори ему ни слова.

– Сохраню в строжайшей тайне.

– А как ты, радость моя? Как ты выдержишь этот холод?

– Я сижу в коридоре: над передней входной дверью щель, а задняя вообще как следует не закрывается, так что по коридору вовсю гуляет ветер.

– Представляю себе. Мрачная развалина. У меня от одной мысли о нем мороз по коже. Ума не приложу, почему вы не выбрали себе милый современный дом с хорошей теплоизоляцией и центральным отоплением. Я вас предупреждала, но вы настояли на том, чтобы выкупить у Марка его долю и жить в этом доме. Ты и слушать меня не хотела. Знаю, знаю, – мать не дала мне и слова вставить в свою защиту, – это дом твоей бабушки, и ты не хотела, чтобы в нем жили чужие люди.

– Мам, мы любим этот дом.

– Любовь – это замечательно, я только надеюсь, что ты хорошо одета.

– У меня под джинсами толстые колготки, и еще на мне теплый жилет, фланелевая рубашка и курточка с начесом.

– Наряд у тебя, как у уборщицы. Чем же вы сегодня занимаетесь?

Я уставилась на зажатый в руке шпатель.

– Я отдираю старые обои, а Гарри уехал в центр.

– О! – вырвалось у матери, а потом, помолчав, она спросила: – Он ведь не пошел на демонстрацию?

Демонстрация. Простые ирландцы наконец-то протестуют против правительства, банков, Международного валютного фонда, Европейского союза и всех других чудовищ, которые утверждают, что пытаются нас спасти. Я ясно представила себе, как мать нервно тербит свое жемчужное ожерелье, и на лице ее появляется неприязнь: ее зять участвует в этом позорном протесте, и телекамеры снимают, как он, полный злобы, шагает за знаменем ирландского конгресса профсоюзов, или бросает зажигательную бомбу, или с коктейлем Молотова в руках набрасывается на полицейского.

– Нет, мама. Гарри уехал в студию. Он сегодня забирает оттуда оставшиеся вещи. Ты забыла?

– А-а. Совсем забыла. – Она помолчала, а потом добавила: – Гарри будет скучать по этой студии.

– Знаю. Ему нелегко.

– И все же, – поспешно продолжила мать, – какой смысл бросать деньги на ветер? Зачем тратить их на этот огромный холодный подвал в центре, когда дома столько пустого места?

– Ты права, мама, – отозвалась я.

Но пока она произносила все эти разумные слова, я чувствовала, что до конца в них не верю. Я вспомнила: стоило завести речь о том, чтобы работать в гараже, как Гарри мгновенно умолкал. Он любил свою студию. Любил ее тишину и уединенность. Я это знала. Но с финансовой точки зрения это было непрактично. И тут мне вспомнился вчерашний вечер: мы стояли рядом возле кухонной раковины, мыли посуду, и я предложила ему помочь с переездом. «Нет, Робин», – сказал он холодным, бесстрастным тоном, не сводя взгляда с зажатой в руке тарелки, и я ощутила исходившие от него волны поражения. Мне стало стыдно. Наверное, не надо было его об этом спрашивать. Порой он бывал таким ранимым.

– Кстати, – снова заговорила мать, – уж если кому сегодня и протестовать, так это тебе.

– Мне?

– Да, тебе! Разве этот кризис не ударил со всей силой по архитекторам?

– Ну да, но...

– Сколько дней в неделю ты сейчас работаешь? Четыре? Три?

– Три с половиной.

– Три с половиной. И вы еще платите ипотеку за дом, который разваливается на части.

Я почувствовала, что закипаю. Еще немного, и мать перейдет в атаку, а я начну упрямо отбиваться.

– Мам, послушай, мне нужно вернуться к моей...

– Конечно. Прости, моя дорогая. Но перед тем как мы попрощаемся, можно, я спрошу тебя кое-что о Рождестве?

– О Рождестве? – Сердце мое екнуло: я догадывалась, что сейчас последует.

– Мне просто хотелось убедиться, что вы с Гарри не передумали и приедете к нам на Рождество.

– Ну...

– Потому что Марк позвонил вчера вечером и объявил нам, что Рождество он собирается провести в Ванкувере со своей новой пассией Сьюзи.

– Мам, ее зовут Суки.

– Господи, да-да, именно так. Не могу произнести это имя без смеха. Таким именем только кошек называть.

Я невольно рассмеялась и тут же подумала, что лучше не увиливать и тянуть до последнего момента, а сразу признаться, что мы с Гарри хотим провести Рождество дома вдвоем.

Последовало изумленное молчание.

– Но вы к нам всегда приходили, – наконец сказала она.

– Я знаю, мама, но в этом году мы решили, что будет славно встретить Рождество в нашем доме, особенно после того, как мы проделали сколько работы...

Я замолчала. Мои слова прозвучали жалко – даже по моим собственным меркам.

Паузу нарушил недовольный голос матери.

– Это идея Гарри? – спросила она.

Во мне вспыхнуло раздражение. Ну, начинается.

– Нет, на самом деле идея была моя. Я хотела провести его здесь.

– Понятно.

Она немного помолчала, а потом сказала с усталой покорностью:

– Что ж, ты всегда отличалась своеобразием. Никогда не спрашивала совета, а если его тебе предлагали, никогда его не принимала. Всегда поступала по-своему независимо от последствий.

Ее слова повисли в воздухе. Я знала: она имела в виду Танжер. Мое сердце сжалось. Пять лет подряд надо мной висело молчаливое «я же тебе говорила», но если эти слова произнести вслух, они отравят наши с ней отношения.

Я хотела бросить трубку. Но вместо этого сделала нечто еще более глупое.

– А почему бы вам с отцом не прийти к нам?

– Прийти к вам? – изумилась мать. – Но у вас нет отопления!

– Обещаю тебе, мама, – сказала я, – если вы придете к нам на Рождество, у нас будет отопление. Будет жареный гусь, и вино, и шампанское, и елка, и подарки, и отопление.

– Ну, радость моя, я не знаю, – в голосе ее звучали неуверенность и сомнение, – мне надо спросить отца.

– Хорошо, мам, ты подумай об этом.

– Ладно, подумаю. Спасибо. Всего доброго, радость моя. И одевайся потеплее!

Мать повесила трубку, а я сидела на ступеньке, смотрела на телефон и размышляла. Черт подери!

Теперь у меня появилась еще одна забота: предстояло сообщить Гарри не одну новость, а две.

Все утро я сдираала со стен обои, а после полудня долго нежилась в горячей ванне. Одно из моих излюбленных занятий – лежать в горячей ванне, слушать радио и пить красное вино. Я отказалась от вина, а после десяти минут новостей о морозах на восточном побережье и продвижении демонстрации к правительственному зданию я выключила радио и погрузилась в тишину. Я разглядывала свое тело в неподвижной воде и выискивала на нем признаки беременности. Живот у меня был плоским и гладким: ни складок, ни следов первых родов. Я проверила грудь: не пополнила ли она и не стала ли более чувствительной – но не обнаружила никаких перемен.

Вода остывала, но я еще не готова была выйти голышом в холодную комнату. Я осмотрелась вокруг: пятна плесени на потолке, стены в подтеках, старые темно-зеленые шкафчики, загнутые края линолеума на полу – и меня охватила паника. Каждая комната в этом доме нуждалась в ремонте. Но теперь нас поджимало время. Как мы успеем все закончить вовремя?

«Успокойся, Робин», – сказала я себе. Ребенок родится летом. Об отоплении не нужно будет заботиться до осени. Но в меня уже вселилась тревога, и я наподобие того, кто пытается скovyрнуть болячку, уже не могла остановиться.

Я видела, как наш дом постепенно разваливается на части. Мама права: пока еще было возможно, надо было его продать. Мы могли получить за него приличную сумму и купить маленький симпатичный дом в хорошем районе и не волноваться о том, что за него нужно платить ипотеку. Вместо этого мы остались в старой развалюхе, цена которой за последние четыре года существенно упала. И если во время покупки мы считали, что это отличная сделка, то сейчас, когда моя рабочая неделя сократилась, – а как поговаривают, сократится еще больше, если я вообще буду кому-нибудь нужна, – эта покупка кажется весьма рискованной. Я уже не говорю о беременности: как она скажется на моей работе? А в связи с рецессией уменьшился и спрос на предметы искусства, так что будущее Гарри тоже довольно туманно. Он с энтузиазмом работает в новом стиле, но, похоже, за последнее время не продал ни одной большой работы.

Все сейчас в одинаковом положении, сказала я себе. Главное – не паниковать!

Но трудно сохранять спокойствие в атмосфере страха. Стоит включить телевизор, как слышишь об одном и том же: о сокращении расходов, чертовом бюджете, затянутых потуже поясах и общих страданиях. Люди во всю глотку орут о том, что мы потеряли суверенитет, о том, что наши праотцы, которые сложили головы за независимость страны, сейчас переворачиваются в гробах. Французы и немцы без конца корили нас за наши низкие корпоративные налоги; и если они сумеют настоять на своем, то от нашей экономики останутся только рожки да ножки. И я собиралась родить ребенка в этом мире, полном горечи, страха и паники? О чем я, черт побери, думала?

– Алло?
– Робин, это я.
– Где ты?
– В центре. На демонстрации.
– Гарри, я почти ничего не слышу. Ты можешь позвонить мне из какого-нибудь тихого места?
– Я только что видел...
– Что-что?
– Я видел...
Треск в трубке и шум ревущей толпы.
– Что ты сказал?
– Приезжай ко мне.
– В центр?
– Нет, я хочу отсюда выбраться. Нам нужно увидеться. Давай встретимся в «Слейттерис».
– Гарри... с тобой ничего не случилось?
Он повесил трубку, а я стояла с телефоном в руке, не сводя глаз с дерева за окном: освещенное заходящим солнцем, оно бросало на снег холодную тень.

Глава 3. Гарри

Я оторвался от толпы и бросился бежать по переулку. Задыхаясь, остановился на углу: посмотрел налево, потом направо – никого. Интуиция подсказывала: направо. Я кинулся по улице, с каждой минутой все больше и больше впадая в панику. Где он? Куда они пропали? Я почувствовал во рту горький привкус страха и мгновенно перенесся мыслями в Танжер: я бегу по холму, сердце бешено колотится, я спешу домой к нему, и из меня рвется нечто вроде молитвы.

Мне навстречу, держась за руки, шла молодая пара, и я закричал им:

– Вы не видели мальчика в красной куртке? Он шел вместе с женщиной.

Их недоуменный взгляд был красноречивее любого ответа. Я не стал ждать, что они скажут, а ринулся дальше, добежал до конца улицы, завернул за угол и оказался на широкой площади. На одной ее стороне стояла церковь, на другой – торговый центр, а по усыпанному снегом пространству между ними хаотично двигались люди. Я пробежался взглядом по их лицам, отчаянно надеясь увидеть среди них Диллона, но в глубине души чувствовал: он от меня ускользает.

– Черт подери! – крикнул я.

Но паниковать было некогда. Думать было некогда. Нужно было действовать, и все тут. Каждую секунду он все больше и больше удалялся от меня.

Я кинулся бежать обратно к О’Коннелл-стрит. В ту минуту, как я достиг Генри-стрит, в боку у меня резко закололо. Вся моя одежда пропиталась потом, а куртка и ботинки словно налились свинцом. Но я продолжал бежать. Мне нужна была помощь. В конце О’Коннелл-стрит был полицейский участок, и когда я до него добрался, руки и ноги у меня тряслись, а горло до боли пересохло.

В участке царил суета. Он явно не был местом покоя и безделья. Только не этот центральный. Парню, который, судя по всему, перебрал с выпивкой, велели сесть на место.казалось, что он вот-вот рухнет на пол. Ребенок в коляске орал благим матом, а его родители громко переругивались. Нужно было встать в очередь, но я был в таком возбуждении, в таком отчаянии, что просто не мог ждать ни минуты. Я ринулся прямо к столу дежурного офицера и выпалил: «Помогите мне!»

– Это как же так? – возмутилась женщина, которую я только что обошел.

За ней сразу же послышались недовольные голоса: «Какого черта?», «Слушай, парень, тут очередь!».

Мне было все равно. Плевать я на них хотел.

– Мой сын, – взволнованно выпалил я, – мой пропавший сын! Я только что его видел.

И только тут до меня вдруг дошел смысл собственных слов – мне будто дали под дых. Сидевший за столом полицейский окинул меня усталым взглядом.

– Ваш сын, – медленно произнес он.

– Да, мой пропавший сын. Я только что его видел, – тупо повторил я.

Я показал пальцем на улицу, где все еще слышался гул толпы.

– Там, на демонстрации. Я видел его. Он был с какой-то женщиной. Я не знаю, кто она такая. Пожалуйста, помогите мне...

Полицейский жестом руки остановил меня, и только тут я сообразил, что говорю взахлеб, в голосе звучала паника, я задышался.

– Подождите минуту. Ваш сын... Как давно он пропал?

– Пять с половиной лет назад. Ему сейчас должно быть девять.

– А при каких обстоятельствах он пропал?

– Это случилось в Танжере. Послушайте, у меня сейчас нет на это времени. Мы должны что-то сделать, пока еще не поздно его найти.

– Пожалуйста, говорите потише, мистер?..

– Поттише?.. Лонерган. Гарри Лонерган.

– Лонерган, – неторопливо повторил полицейский и аккуратно записал мою фамилию. Я следил за ним с нарастающим нетерпением. Его безмятежность бесила.

– Ваш адрес?

Стараясь держать себя в руках, я терпеливо продиктовал ему свой адрес, ни на минуту не забывая, что мой сын уходит от меня все дальше и дальше.

– А вы подавали заявление о пропаже сына, мистер Лонерган?

– Вы не могли бы по радию передать его описание? Сегодня ваши парни расставлены по всему городу. Кто-нибудь из них его обязательно приметит.

– Минуту. – Полицейский бросил на меня холодный взгляд, повернулся и исчез в кабине.

Дверь за ним захлопнулась, а я остался в приемной, снedaемый волнением и сходя с ума от нарастающей паники.

Под кончиками пальцев я вдруг ощутил шершавую, зернистую поверхность прилавка. Позади меня в очереди люди раздраженно шаркали ногами и тяжело, возмущенно вздыхали. Но мне это было безразлично. Я лишь старательно сохранял спокойствие, пока наконец дверь кабинета не открылась и из нее с папкой в руке не вышел полицейский.

– Значит, так, – неторопливо проговорил он и бросил на меня непроницаемый взгляд, – вы говорите, что ваш сын пропал в Танжере.

– Да, это так.

– И вы уже раньше к нам обращались. В вашем деле говорится, что исчезновение вашего сына совпало с землетрясением.

Он окинул меня холодным, неприязненным взглядом.

– Послушайте, я знаю, что вы думаете. Я знаю, что есть предположение, будто в ту ночь он погиб, но тело его не было найдено, и только что, меньше получаса назад, я его видел. Своими собственными глазами. Он был живой. Он посмотрел на меня, и я понял...

Мой голос сорвался. Во взгляде полицейского сквозили недоверие и жалость. Я знал, что именно он прочел в этой папке. Знал, что они написали в ней обо мне. Я столько раз приходил к ним за эти годы. Полицейский просто-напросто считал меня психом.

– Мистер Лонерган, мы уже говорили вам раньше, что ваше дело было передано в Интерпол. Я советую вам связаться с Центральным национальным бюро в «Парке Феникс».

– Послушайте меня, – медленно произнес я, стараясь говорить негромко и вразумительно, понимая, что только так смогу найти Диллона. – Пожалуйста, сообщите по радию. Пожалуйста, я прошу вас. Просто передайте им его описание. Попросите ваших ребят проверить.

Я затаил дыхание.

– Мистер Лонерган, вы, наверное, видели демонстрацию на улице. Сегодня все полицейские дежурят. Все выходные отменены. У нас нет дополнительных людей, и даже если бы они были, мы такими делами не занимается, потому что, как я уже сказал, Интерпол...

Он говорил, а я сжимал кулаки.

– Если хотите, вы можете заполнить эту форму, и мы приобщим ее к вашему делу. Когда в понедельник придет сержант Сэйер...

– В понедельник, мать твою, будет уже поздно!

– Вы тут не выражайтесь, мистер Лонерган.

Я со злостью ринулся прочь от прилавка и, не обращая внимания на глазевших на меня людей, пулей вылетел из участка.

На улице в грудь хлынул холодный воздух. Я почувствовал безмерное отчаяние. Хотя чего еще я мог ожидать? Но эта болезненная унижительная сцена не шла ни в какое сравнение с мыслью о том, что, возможно, все уже потеряно. Я сам все испортил. Через столько лет у меня впервые появился шанс – единственный шанс за все эти пять с половиной лет! – а я его упустил. Я стоял и не знал, что теперь делать. Позвонить Робин или сесть в пикап и кружить по городу в поисках сына? Одно было ясно: надо успокоиться. Я зашел в бар и заказал себе выпивку.

Перед огромным телеэкраном сидели футбольные болельщики и что-то орали. На улице продолжалась демонстрация под лозунгом «Потеря экономического суверенитета», а здесь внутри на этот суверенитет всем было начхать. Их волновало одно: забьет «Арсенал» еще один гол или нет? Да еще кто следующий будет всех угощать выпивкой? И больше ничего. Атмосфера в баре была тоскливая. Я осушил кружку пива, почувствовал, как оно закружилось в желудке, однако желаемого облегчения это не принесло. В душу просочилась тоненькая струйка сомнения, но к концу дня она рискует стать полноводной рекой.

Я снова вышел на улицу. Было все еще светло, свет, отражавшийся от снега, брызнул мне в глаза, и я зажмурился. Я обошел площадь Парнелл и неизвестно почему забрел в больницу «Ротунда». Я принялся расхаживать по коридору и заглядывать подряд во все палаты. Никто меня ни о чем не спрашивал. Я вышел из больницы расстроенный и, без конца оглядываясь, снова побрел по О'Коннелл-стрит. Остановился и позвонил Робин. Желание увидеть ее росло с каждой минутой, мне нужно было поделиться с ней своим бременем. Продолжая оглядываться вокруг, я поспешно договорился встретиться с ней в «Слейттерис» и повесил трубку. Но Диллона нигде не было и в помине: ни его темноволосой головы, ни красной куртки, ни женщины, которая вела его. Я мог обшаривать эту улицу до самой ночи – это ничего бы не изменило. Они оба исчезли.

Когда я вернулся на Фириан-стрит, меня трясло. Оставил ли Спенсер хоть какую-то выпивку? Руки у меня замерзли, и я усердно потирал их друг о друга. Красные старческие руки. Чужие руки, не мои. А последнее время они еще и дрожали. Слишком много выпивки, слишком много стресса, слишком много тревог и страха. Такая вот эстетика. Туманные мазки моей кисти, насыщенные желтком, уксусом и песком, не были осознанным творением. Они не являлись результатом работы мысли, наглядным воплощением каких-то умозрительных концепций. Нет. Если говорить по-честному, мои картины, моя работа, мои идеи – это плод бредового состояния, утреннего похмелья, когда кисть в моей трясущейся руке дрожала над полотном, придавая картине неопределенную, нереальную, размытую ауру. Нервозность и дрожание рук.

Я зажег сигарету и подошел к зданию. Меня осенила идея. У Спенсера, бизнесмена, состоятельного человека, должны быть связи. У него были знакомства. Частные детективы. У кого-то из них может быть доступ к телекамерам, снимавшим на О'Коннелл-стрит. Кто-нибудь из них сможет, не поднимая шума, оповестив лишь немногих, внимательно изучить заснятые кадры и помочь мне выследить Диллона и ту женщину или хотя бы подать мне идею, куда они направились, в каком направлении, на каком автобусе, или с кем они встретились. На меня нахлынул страх, но страх был пополам с надеждой. Охваченный возбуждением, я распахнул дверь в студию. Когда я увидел фигуру в другом конце комнаты, возбуждение сменилось отчаянием.

Диана провела пальцем по поверхности кухонного стола.

– Я бы не сказала, что ты тщательно убрал свою студию.

– Диана, какого черта?

– У меня есть ключ. Тебе же, Гарри, это известно. Твоих вещей, возможно, здесь больше и нет, но твой дух по-прежнему витает.

Даже в субботу на ней был костюм: жесткий черный жакет и юбка. Она отбросила со лба волосы и улыбнулась. Я взял в руки пару оставленных мною папок и двинулся к выходу.

– Я хотела попрощаться, – сказала она.

– Что?! – Я повернулся к ней лицом.

– С твоей студией, с местом, где ты работал. С воспоминаниями. – Она шла по направлению ко мне, в руке у нее была бутылка. – Я ее принесла, чтобы выпить на прощание.

Я ничего не ответил.

– Гар... Гарри, – кокетливо потупившись, проговорила она.

– Слушай, мне надо идти, – сказал я, но она, наливая два стаканчика виски, уже заманивала меня назад в комнату.

Не знаю, то ли меня соблазнила еще одна выпивка, то ли причиной был недавний шок, а может, мне безумно захотелось хоть какого-то человеческого тепла, но я решил, что могу побыть здесь еще немного, что мне это необходимо, чтобы успокоиться.

– Ты здесь написал одни из самых лучших работ, – протягивая мне стаканчик, сказала Диана. – Ты помнишь свою первую персональную выставку? «Танжерский манифест». А устроила ее, Гарри, я.

Я отхлебнул виски и вдруг почувствовал себя опустошенным. Рука Дианы коснулась моего бедра.

– Выставка была превосходная.

Она была права. Я продал немало картин, и действительно я был многим обязан Диане. Но это все в прошлом.

– Диана, я считал, что мы все решили.

– Знаю-знаю, решили. Но я подумала...

Диана была воинственной любовницей: скромной без застенчивости, соблазнительной без вульгарности, то кокетливой, то неожиданно свирепой. Ее сексуальные притязания всегда отличались откровенностью. Когда ее рука скользнула вдоль моей ноги, я невольно почувствовал неодолимое желание.

– Я когда-нибудь тебя подводила? Я когда-нибудь тебя разочаровывала? Я когда-нибудь сообщала твоей жене? И я не собираюсь рассказывать ей, но, Гарри, я хочу, чтобы ты кое-что сделал для меня. Я хочу, чтобы ты сделал мне этот последний, прощальный подарок.

У нас никогда не было любовного романа. По крайней мере я так считал. Интрижка. Череда неудачных решений, бездумные финалы совместных вечеров, минуты страсти, дурацкий секс. Она пришла сюда, когда мы вернулись из Танжера. Она, наверное, поддержала меня, когда я был в плохом состоянии, когда изнывал от горя. Диана стала моим доверенным лицом, она меня подбадривала, внушала мне надежду, устроила мне первую персональную выставку. Она всегда была доступна. Я до сих пор помню, как она пришла сюда в самый первый день.

– Это скорее однокомнатная квартира, а не студия, но она тебе хорошо послужит, – твердо заявила Диана. – У меня для тебя кое-что есть.

«Кое-что» оказалось не бутылкой вина, или контрактом, или деловым предложением, или кистями и красками; это была факс-машина, завернутая в цветную рождественскую бумагу. Но это не было Рождество.

– Это все, что я нашла, – сказала Диана, имея в виду упаковку; она расположилась поудобнее и, заметив мое смущение, усмехнулась.

– Все художники теперь держат эту штуку.

– У себя в студии?

– У себя в студии. По ней можно получать коммюнике.

– Коммюнике?

– Контракты и тому подобное. Она не такая назойливая, как компьютер.

Вот так все и началось. Диана приходила каждую неделю, и мы беседовали. «Расскажи мне о Танжере», – просила она; слово за слово, и мы уже на матрасе в дальнем углу студии. Так оно и продолжалось по-глупому, от случая к случаю, до сегодняшнего дня.

– Я не могу.

– Гарри...

Я думал, она сейчас скажет, что я ей обязан. Ее рука двинулась вверх по моему бедру, медленно и настойчиво. Я чувствовал, что Диана упорно притягивает меня к себе и не приемлет отказа.

– Я видел Диллона.

Ее рука остановилась.

– Я видел его. Он был там, на демонстрации. Какая-то женщина держала его за руку.

Мгновение она смотрела на меня в упор, а потом глаза ее вспыхнули. Она вздохнула и отвернулась.

– Гарри, ты опять за старое?

– Опять за старое? Что ты такое говоришь?

Она убрала руку с моего бедра и вскинула ее в успокаивающем жесте.

– Ты знаешь, о чем я говорю, Гарри.

– Это чушь. Что я вообще тут делаю? Мне надо уходить. Я должен его найти.

– Гарри, сядь и успокойся.

– Успокойся? Диана, ты мне таких слов не говори.

– Брось, Гарри. Все это уже было. Диллон умер. Он погиб во время землетрясения в Танжере. – Она произнесла каждое слово с расстановкой, точно говорила с маленьким ребенком.

– Его тело не нашли.

– Но после того землетрясения не нашли останков многих погибших, однако это не значит, что они выжили, и их разослали по разным странам, дали новые имена, и они теперь живут новой жизнью.

В голосе ее звучала насмешка.

– Я видел его.

– А тебя не удивило, что даже если твой сын чудом остался жив, он вдруг оказался именно в Дублине? – Ее вопрос повис в воздухе. – Гарри, ведь это невозможно, не так ли? Это стресс, тягостные мысли... И это не в первый раз. Когда ты лежал в больнице, в Сент-Джеймс, помнишь, я тебя навещала?

Я обернулся, бросил на нее последний взгляд и, изо всех сил стараясь говорить спокойно и твердо, произнес:

– Диана, я видел его.

Она даже не посмотрела на меня, лишь покачала головой и осушила стаканчик. С меня было довольно. Мне не терпелось уйти. Я уже опаздывал, и мне отчаянно хотелось увидеться с Робин. Я поднялся, не оглядываясь, зашагал к выходу и, хлопнув дверью, вышел на улицу.

Я ехал в «Слейттерис» слишком быстро, и на одном из поворотов машина заскользила, но я ее удержал и, замедлив ход, стал разыскивать место для парковки. Я знал, что Робин уже в баре и ждет меня. Нервы мои были взвинчены. Я не очень-то представлял, что именно ей скажу, но, увидев ее, я понял, что Робин сама что-то хочет мне сказать.

Когда я подошел к столику, я поймал ее выжидающий взгляд. Она никак не отреагировала на мое опоздание, просто подставила мне щеку для поцелуя. Как только я от нее отошел, Робин улыбнулась, протянула мне меню и начала говорить. Я сел напротив, сбросил с плеч куртку, и от одной мысли о том, что мне предстояло ей рассказать, у меня бешено заколотилось сердце.

– Я заказала шампанское, – сказала Робин. – Ты ведь не против? Я знаю, это несколько экстравагантно, и тем не менее...

– А по какому случаю? – спросил я.

Робин пожала плечами.

– Девушки могут заказывать шампанское и без повода.

– Верно.

Робин, очевидно, услышала в моем голосе сомнение. Она наклонилась вперед и коснулась моей руки.

– Я счастлива, вот и все, – сказала она. – Разве это не стоит отпраздновать?

Я посмотрел на нее, и то ли потому, что этот день был таким необычным, то ли потому, что во мне вдруг вспыхнуло чувство вины из-за Дианы, но я неожиданно увидел свою жену совсем в ином свете. В сумраке бара она излучала тепло. Мое внутреннее смутнение стихло. Я радовался тому, как легко и естественно она из двадцатилетней стала тридцатилетней; теперь это уже была не девушка, в которую я влюбился, а женщина, которую я любил. Утрата Диллона состарила нас обоих, тут уж нет никаких сомнений! Когда я смотрел на фотографии из Танжера, то мне казалось, что мы на них просто дети. Мы познакомились еще студентами. Восторженные, жизнерадостные. Теперь же у нее на лице появились морщинки, следы грусти. Взгляд ее серо-голубых глаз был полон меланхолии, но не отчаяния. Наоборот, я читал в нем безграничное сочувствие и всепрощающее, беспредельное терпение. Разница между нами была в том, что я выглядел побитым и потрепанным жизнью, а в Робин сквозила грациозная зрелость.

– Я за это выпью, – сказал я.

Мы подняли бокалы и чокнулись. Я пил шампанское, и пузырьки газа щекотали мне язык. На мгновение все вокруг закружилось. Я закрыл глаза. Когда я их открыл, то увидел, что бокал Робин стоит нетронутый.

– Так какие у тебя новости? Голос у тебя был просто неистовый.

Я не знал, что сказать. Выжидательное выражение ее глаз, шампанское, – я вдруг потерялся.

Робин не сводила с меня взгляда.

– С тобой ничего не случилось?

– Нет, я просто устал.

– Точно? У тебя какое-то покрасневшее лицо.

– Неужели? Это, наверное, потому что я зашел в теплое помещение с мороза.

Робин все еще смотрела на меня с тревогой.

– Правда же, я в полном порядке. Это все шампанское.

Я потянулся к ее руке. Робин нежно сжала мою ладонь и улыбнулась.

Какой там порядок? Меня обуревали противоречивые чувства. Я то ощущал восторг – что ни говори, а я видел Диллона! – то вдруг проваливался в какую-то пучину, из которой никак не мог выбраться. Я знал, что должен рассказать о случившемся Робин, но не мог найти нужных слов. Мне следовало сообщить эту новость осторожно, так, чтобы она ей поверила. Но меня страшила ее реакция. По-настоящему страшила. Робин о чем-то говорила, а я ждал подходящего момента, паузы, во время которой я выскажу то, что у меня на уме. То, что наш сын жив. Что он где-то поблизости. Что после всех этих лет...

Но после второго бокала шампанского не я открылся Робин, а она сказала мне то, что хотела рассказать с самого утра.

– Гарри, – начала она.

Когда Робин так напрямую ко мне обращалась, я знал, что речь идет о чем-то важном. Обычно о чем-то серьезном. Она хочет в самой тактичной форме попросить меня меньше пить, или проводить больше времени дома, или уехать вместе с ней куда-нибудь на выход-

ной, или пойти на обед к ее родителям. «Проклятие, – подумал я, – она хочет, чтобы мы пошли к ее родителям на рождественский обед». Она сейчас оплатит счет и начнет меня умолять. «Гарри, пожалуйста, – скажет она, – сделай это для меня».

Но жена не стала меня ни о чем просить. Вместо этого она самым обыденным тоном объявила:

– Гарри, я беременна.

Я уставился на нее – но не в удивлении, а в шоке.

Робин нервно улыбнулась и прикусила губу.

– Ты слышал, что я сказала? – мягко спросила она.

Я услышал. Это было яснее ясного. Но я почему-то не мог ничего ответить. Мой мозг мгновенно переполнился и вскипел от мыслей, а потом его прорвало словно плотину, и все растерянность и сомнения вырвались наружу.

– Я не знаю, что и сказать, – наконец выдавил я.

У меня в душе все перемешалось. Внутри стало расти какое-то дикое возбуждение. Я снова буду отцом. Но, глядя на счастливую Робин, излучающую надежду на будущее, на новые возможности, я чувствовал только неуверенность в собственных силах. Но разве я не рад ее беременности? Робин потянулась ко мне, и ее жест отмел все, что случилось в этот день, все мои видения – ведь скорее всего это действительно были всего лишь видения. Те крохотные сомнения, что закрались в меня ранее, стали расти и крепнуть. Они затопили меня безбрежной рекой. Смыли всю мою убежденность, а вместе с ней и злобу на бездействие полицейского, и чувство вины из-за Дианы, и мои бесплодные порывы обшарить все улицы Дублина и найти пропавшего сына. Его образ съезжился и растаял.

– Тебе все-таки придется что-то ответить, – заметила Робин.

В эту минуту я уже понял, что ничего не скажу ей про Диллона. Не скажу о том, что я сегодня видел. О том, кого я видел. Мне придется все это скрыть от нее. После того что она мне сказала, все это кажется просто невероятным.

– Не могу поверить, – наконец произнес я.

– А ты поверь, – сказала Робин. – Это правда. Самая настоящая правда. Гарри, я испытываю такое...

Я думал, она скажет: «счастье», но она произнесла слово, которое меня озадачило. Она сказала: «облегчение». Так и сказала: «Я испытываю такое облегчение».

На глаза у жены навернулись слезы. Руки ее тряслись. Я вскочил с места и обошел столик. Присел рядом с ней, обнял ее и ощутил прикосновение ее волос и тепло ее тела. Я шепнул ей, что это чудесная новость, что я просто не мог ей поверить. Я изо всех сил старался сказать то, что следовало, я старательно подбирал правильные слова. Робин обняла меня, ее пальцы коснулись моей спины, и все мои надежды устремились к ней, и только к ней.

Весь вечер мы говорили лишь о будущем ребенке. Мы говорили о сроках, о ночных кормлениях и дневном сне, а призрачный образ Диллона то появлялся в моем сознании, то исчезал. Передо мной то и дело вставал его взгляд, пристальный, неподвижный взгляд, в котором сквозило сомнение.

Позднее я стоял в нашей спальне, пытаюсь понять, что творится внутри меня, и казалось, что мир вокруг идет ходуном.

Робин легла в постель. В руках у нее была книга о беременности. Я никогда ее прежде не видел. Или видел? Может, это старая книга? Может, это книга, которую она нашла в Танжере в букинистической лавке Козимо?

– Ты ложишься? – откладывая в сторону книгу, спросила Робин.

Она улыбалась. Ее руки манили меня к себе, и, потянувшись к ней, я сбросил одежду и оказался в ее объятиях. Наши тела пульсировали в давно знакомом ритме, и мы наслаждались друг другом с такой же страстью, с какой наслаждались уже не первый год подряд. Робин так крепко прижимала меня к себе, что пальцы впивались мне в спину. А потом мы лежали рядом, тяжело дыша и истекая потом. Робин повернулась на другой бок и вскоре заснула. А я, немного помедлив, встал и направился в ванную комнату.

Возвратившись, я заметил на полу бутылку воды, поднял ее и выпил всю до капли. Когда я улегся, Робин повернулась и коснулась меня рукой. На ее стороне кровати я увидел книгу о беременности. Корешок книги поплыл у меня перед глазами, и вот уже передо мной замелькали сотни книжных корешков, потом в моем затуманившемся сознании закружились образы Козимо и его пыльной лавки, и, не успев опомниться, я провалился в тревожный сон.

Глава 4. Робин

Проснувшись в то снежное воскресное утро, я мгновенно вспомнила события минувшего дня – вспомнила о том, что вчера обнаружила, и обо всем, что за этим последовало. В утренней тишине я лежала в нашей спальне и думала о своем открытии, о том, что оно для нас означает, и, конечно, о том, как теперь все пойдет по-другому. Мне почудилось, будто наш дом тоже переменялся. Его словно обволокло новоявленным спокойствием. Этот дом с его древними стенами, скрипучими полами, с его кряхтением и стонами всегда казался мне живым существом. Чуть ли не человеком. Казалось, будто жизненные силы каждого поколения прежних хозяев просочились в стены и полы нашего жилища, а их характеры лежат еще одним слоем на многочисленных слоях краски, лака и пятен. Но в то раннее воскресное утро, когда я, тихонько отбросив одеяло и спустив ноги на пол, прислушалась к окружающей тишине, мне почудилось, будто дыхание дома замедлилось и стало ровнее. Пока я вылезала из кровати и шла к выходу, я не слышала ни кряхтения, ни стонов. Осторожно прикрыв за собой дверь, я оставила мирно спящего Гарри в мирно спящей комнате.

Спустившись вниз, я поставила на плиту чайник и огляделась вокруг. Во мне кипела энергия, мне хотелось немедленно приняться за ремонт дома. Я переходила из комнаты в комнату, оценивала степень обветшалости, мысленно составляла список необходимых дел, а внутри у меня все клокотало и бурлило. Я приоткрыла дверь, ведущую в гараж, и в полумраке передо мной предстало холодное безмолвное пространство, которое вот-вот превратится в студию Гарри. Оно как бы застыло в ожидании; и я подумала, что совсем скоро это пространство переродится в комнату, где будет царить творчество, и я представила, как Гарри, забыв обо всем на свете, пишет свои полотна, и его лучезарная безмятежность просачивается во все уголки нашего дома. Я размышляла об этом и вся горела от возбуждения: все теперь пойдет по-другому.

Чайник засвистел, и я вернулась на кухню. Я поставила кружку на стол, а в ту минуту, когда я лила кипяток на мешочек с чаем, на меня ни с того ни с сего нахлынуло воспоминание: я снова в крохотной ванной комнате в Танжере.

Было жарко. Даже в этой самой прохладной комнате в доме воздух пропитался гнетущей жарой. Я слышала, как за дверью Гарри ходит туда-сюда по коридору. Каждую минуту его шаги замирали у двери, и я знала, что он прислушивается: что там со мной происходит? Я заперла дверь и приказала ему подождать, но его нетерпение и едва сдерживаемое возбуждение, казалось, вот-вот вышибут дверь. Я физически ощущала эту настойчивость. Пот струился у меня по лбу и стекал с верхней губы, а я, замерев, не сводила глаз с зажатой в руке белой п-алочки.

– Ну? – воззвал Гарри из-за двери. – Уже сделала?

Его тон задел меня за живое. Внутри все обрывается.

– Подожди минутку, – отвечаю я дрожащим го-лосом.

Мне нужно было прийти в себя.

Я отложила палочку в сторону, облокотилась о раковину и вздрогнула от ее холодного прикосновения. Если бы только можно было лечь на пол и прижаться лицом и телом к прохладным керамическим плиткам. Я так устала, что, наверное, тут же заснула бы, а когда проснулась, то, возможно, все бы уже уладилось, встало бы на свои места. И я бы снова смогла быть самой собой.

– На инструкции сказано, что все ясно через две минуты.

Его настойчивость снова всей своей тяжестью навалилась на дверь.

– Ну, что там? – Он легонько, но нетерпеливо постучал в дверь. – Я тут просто умираю.

Над раковиной висело зеркало. Из него на меня смотрело бледное, измученное лицо. В глазах застыл испуг.

«Боже мой, Робин, – сказала я себе. – Что ты натворила?»

Трясущимися пальцами я выложила чайный мешочек на сушилку. «Возьми себя в руки», – строго велела я себе. Налив чашку чая, я села в кресло у окна и, сжимая в ладонях теплую кружку, устремила взгляд за окно на уснувший сад. Это воспоминание вывело меня из строя. Почему оно вдруг явилось? Оно встревожило меня и лишило сил; вся моя энергия вдруг исчезла, сменившись усталостью и апатией. И недовольством собой. Тут всплыло новое воспоминание, а за ним следующее. Они наслаивались одно на другое и требовали внимания. Я пила маленькими глотками чай, в то время как мои мысли унеслись совсем в иные края.

Я вспоминала свою первую беременность, ее неустанное безумство. Каждый месяц давался мне нелегко, сознание не успевало привыкнуть к изменениям, которые происходили с телом. Гарри принял перемены в нашей жизни гораздо проще и быстрее, чем я. Он мечтал о ребенке, просто не мог его дождаться. Чуть ли не с первого дня моей беременности Диллоном Гарри донимал меня своим страстным нетерпением, безумным желанием стать отцом. Однако вчера вечером, когда я сообщила ему свою новость, он повел себя совершенно иначе. Он замер и умолк. А потом усталился на стол перед собой и долго не сводил с него взгляда. От Гарри исходило такое сопротивление... Что он сказал?

«Я не могу поверить».

Я сидела в кресле у окна с кружкой остывающего чая, вспоминала его слова, и в этой безмолвной комнате меня вдруг обдало их леденящим отзвуком. Я подумала: что же все-таки кроется за этим сопротивлением? И сказала себе: эта новость оказалась для него слишком внезапной, да еще в такой трудный день – день переезда из студии. Этот переезд наверняка стоил ему немало нервов. Я уверяла себя, что после истории с Диллоном даже хорошая новость может вызвать совершенно неожиданные чувства. Я говорила себе: пусть он постепенно привыкнет к этой мысли.

По опыту я уже знала: моему мужу лучше ничего не навязывать. Пусть все идет, как идет. У Гарри есть свои слабости, и их признаки мне хорошо известны. Занятно, чего только человек не узнает о самом себе, когда с ним случается несчастье. Кто бы мог подумать, что я окажусь сильной и стойкой, а Гарри словно развалится на части.

Заскрипели полы, и я поняла, что Гарри уже встал. Я сидела, прислушиваясь к звукам из спальни: тишина, стон двери, его шаги на лестнице.

– Господи, как ужасно ты выглядишь! – завидев выходящего из коридора Гарри, воскликнула я.

Лицо у него было зеленоватого оттенка, мутные глаза налиты кровью. Он ступал с осторожностью, словно держаться на ногах стоило ему невероятных усилий, и от каждого похмельного движения он, пошатнувшись, мог свалиться в пропасть.

– Чаю, – простонал он охрипшим от курения голосом. – У меня во рту будто какая-то мертвечина.

– Чайник только что закипел.

Я следила, как он наливает кипяток в кружку, и вдруг подумала, что время как будто повернулось вспять, и мы с ним снова студенты. С моего места у окна он казался высоким, худощавым, широкоплечим юношей с темными непослушными волосами; крепким парнем, полным неистощимой энергии. Но мне уже давно не восемнадцать, а ему не двадцать. Гарри бросил чайный мешочек и ложку в раковину и, отхлебнув чай, сморщился. А потом он подошел ко мне и с тяжелым вздохом сел напротив. Он провел рукой по лицу, потер глаза, и мне вспомнилось, каким возбужденным он был накануне. Его взгляд метался по комнате и ни на

чем не мог остановиться. Холодные голубые глаза Гарри напоминали освещенную лучами солнца отмель. А в одном глазу сверкал янтарный огонек. Прошлой ночью его глаза казались такими яркими, но сейчас, в холодном утреннем свете они выглядели усталыми и тусклыми.

Гарри наклонился, поставил кружку на пол возле ног, потом выпрямился и достал из кармана пачку сигарет.

– Гарри, – с тонкой усмешкой сказала я, видя, что он кладет сигарету в рот, – разве ты забыл?

Он посмотрел на меня с недоумением. И тут он увидел мою улыбку, и лицо его прояснилось.

– Боже мой! Ребенок! Я совсем забыл.

Он покачал головой и, рассмеявшись, положил сигарету назад в пачку, словно заново переваривая эту новость, а я, не сводя с него глаз, ждала, что на лице его сейчас отразится удовольствие, что он всем своим видом покажет, как он рад предстоящему событию.

Гарри провел рукой по волосам и сказал: «Я все еще этому не верю», и лицо его осветилось улыбкой, эта улыбка прорвалась сквозь похмелье, напряжение и усталость; и на этот раз слова его прозвучали совсем по-другому. Казалось, он хотел сказать, что не может поверить своему счастью, что ему не верится, будто после всех наших бед нам дается еще один шанс – новорожденное существо. Он хотел сказать, что ему трудно это осознать.

У меня внутри все возликовало.

– Гарри, ты на меня не сердишься?

– Сержусь? Нет! Конечно, нет. С какой стати? Я несколько удивлен, но нисколько не сержусь. Ни капли.

– Точно?

– Робин, это замечательная новость. Я в восторге. Клянусь тебе.

Гарри произнес эти слова, взял мою руку в свою, и так мы сидели минуту-другую; и я поверила, что он рад. Я действительно в это поверила.

– А как ты себя чувствуешь? Тебя тошнит? Тебе не по себе?

– Нет, ничего такого. Я чувствую себя хорошо, я бы даже сказала – превосходно.

– Везет, – намекая на свое похмелье, заметил Гарри.

Продолжая вчерашнюю беседу, мы поговорили о беременности. Мы обсудили, в какую пойдём больницу, как именно я хочу рожать, когда я скажу об этом на работе и что мы предпримем, когда родится ребенок.

– Здесь что-то надо делать, – сказал Гарри, обводя комнату таким взглядом, точно впервые увидел змеевидные провода, дыры в стене и ворох начатых и брошенных проектов. – Господи, с чего же начать? – добавил он.

– Надо выбрать самое неотложное и сосредоточиться на нем.

– Точно. Давай составляй список!

– Я?

– Ты ведь, моя милая, архитектор, – довольно дружелюбно напомнил Гарри, и все же я почувствовала в его словах легкую язвительность.

Когда, вернувшись из Танжера, я приняла решение стать архитектором, Гарри нелегко было с ним смириться. Я пыталась ему объяснить, что мне в жизни и в работе нужно что-то стабильное, и хотя он, казалось, в какой-то мере понимал это, я всегда чувствовала, что подобная перемена карьеры ему неприятна. Словно в моем решении оставить искусство – в то время как сам Гарри продолжал им заниматься – он усматривал некое обвинение. По правде говоря, в те дни больше всего на свете мне нужно было оставить позади то, что случилось в Танжере, и начать жизнь, совершенно отличную от той, что мы там вели. Мне надо было предать все это забвению. А пока я занималась устройством своей новой жизни, Гарри продолжал цепляться за прошлое. В холодной студии в подвале у Спенсера он по-прежнему

писал Танжер, как будто другого мира вокруг него не существовало. Порой казалось, что он вообще не покидал Марокко.

Но об этом не следовало упоминать, особенно сегодня утром, когда Гарри, похоже, сосредоточился на нашем будущем. Итак, мы говорили о теплоизоляции и отоплении, о ванных комнатах и сантехнике, рассуждали о том, как привести в порядок нашу спальню, чтобы в ней было место для детской кровати.

– Детская кровать, – допивая чай и удивленно покачивая головой, задумчиво произнес Гарри. – Не думал, что она нам снова когда-нибудь понадобится. А нельзя ли положить младенца просто в ящик?

Я забрала у него из рук кружку.

– Прими-ка ты лучше аспирина, – сказала я. – Похоже, твое похмелье затягивается.

– Спасибо, малыш. Я лучше выйду во двор и выкурю сигарету.

Я подошла к раковине и положила в нее кружку. Затем я достала из буфета высокий стакан, и, наливая в него воду, через окно я увидела Гарри в саду. Он глубоко затянулся сигаретой и выпустил дым в морозный утренний воздух. А потом вынул сигарету изо рта и бросил ее в снег. Несколько мгновений Гарри стоял неподвижно, согнувшись, и как будто не сводил глаз с окурка. Потом он вдруг зажмурился и закрыл лицо руками. Я похолодела. Это был жест беспредельного отчаяния.

– Ну и мороз же на улице.

Гарри прикрыл за собой заднюю дверь и задрожал от холода.

В шкафу я нашла таблетки. Они с легким всплеском плюхнулись в воду, я подала Гарри стакан, и он выпил его содержимое со стоном, словно эта процедура лишила его последних сил.

Я положила руку ему на лоб – он пылал, несмотря на то что в комнате было холодно. Я наклонилась, обняла Гарри и прижалась к нему всем телом, мне хотелось своим теплом рассеять отчаяние, которое все еще мучило его.

– Я знаю хорошее средство от похмелья, – медленно произнесла я отстранившись, и в ответ на мою улыбку Гарри тоже широко улыбнулся.

– Неужели?

– Знаю.

Я потянулась к нему и долгим поцелуем прижалась к его губам. На меня пахло кисловатым запахом спиртного и сигарет, но это не имело значения. Во мне разгоралось неистовое желание.

Лишь гораздо позднее, когда мы в безмолвном удовлетворении лежали рядом в постели, нагие и изможденные, я вдруг вспомнила о вчерашнем телефонном звонке.

– Гарри? – Он бездумно наматывал на палец прядь моих волос.

– Гм?

– Ты мне так и не рассказал.

– О чем я тебе не рассказал?

– Вчера по телефону ты упомянул какое-то происшествие.

– Что-что?

– Помнишь? Когда ты позвонил и попросил меня с тобой встретиться? Ты сказал: что-то случилось. Но ты так и не рассказал мне, что именно.

– Не рассказал?

– Нет.

– Я думал, что рассказал.

– Так что же случилось?

Он прекратил играть с моими волосами, потер глаза и нахмурился.

- Я кое с кем случайно столкнулся.
- С кем?
- Э-э, с Таней – той девицей из галереи «Ситрик». Той, что с веснушками. Помнишь ее?
- Смутно. Ну и что?
- Мы разговорились. Я стал ей рассказывать, над чем я работаю...
- И что?
- Она, похоже, заинтересовалась.
- Я приподнялась на постели и внимательно на него посмотрела.
- Ты думаешь, она может устроить тебе выставку?
- Гарри увидел мои загоревшиеся глаза и рассмеялся.
- Еще не осень, а ты уже подсчитываешь цыплят?
- Нет, Гарри, серьезно. Ты думаешь, это возможно?
- Его смех растаял, и на лице расплылась туманная улыбка.
- Возможно. Почему бы и нет.
- Он притянул меня к себе, и мы молча лежали рядом, раздумывая о будущем.
- Гарри?
- Спи, малыш.
- Его рука покоилась у меня на бедре, а щетина щекотала шею.
- Гарри, мы такие везучие.
- Он уткнулся в меня, и мне не видно было выражения его лица.
- Да, везучие, – медленно выговорил Гарри и провалился в сон.

Глава 5. Гарри

Мы впервые повстречались с Козимо, когда в одном из переулков старого города его сбил проезжавший мимо велосипедист. Рядом с его распростертым на земле телом валялась соломенная шляпа. Он не вопил и вообще не выражал никакого недовольства. Он глазел на небо, точно размышляя об этом происшествии, и что-то тихонько напевал. А когда я наклонился спросить, все ли с ним в порядке, он посмотрел на меня и ответил: «Я не был пьян».

Я протянул ему руку, он ухватился за нее и встал с земли. А Робин подала ему шляпу. – Ваше здоровье! – засунув руку в карман жилета, сказал Козимо.

Он быстро что-то отхлебнул из маленькой серебряной фляги, добавил «премного благодарен», а потом повернулся, чтобы уйти, и тут же рухнул на землю как подкошенный.

– Наверное, – начал он все с тем же благопристойным видом, – мне нужно вызвать такси, а может, даже «скорую помощь».

Он говорил необычайно вежливо. Он всегда был предельно вежлив.

К его невероятному удивлению, мы поехали вместе с ним в больницу. Сопроводить его предложила Робин. Больница была маленькой и грязноватой. Робин, отлично говорившая по-французски, объяснила медсестре, что произошло. К тому времени Козимо уже был в каком-то бредовом состоянии и изъяснялся или, вернее, бормотал что-то на разных языках, а потом вдруг тихонько запел или скорее даже защебетал на языке, напоминавшем арабский.

Когда вечером мы покинули его, он пребывал в умиротворенном и довольном состоянии. На следующий день он очень обрадовался, что мы навестили его, и болтал без умолку. Робин спросила его, можем ли мы чем-то ему помочь.

– Да, есть одно дело, – отозвался Козимо.

– Мы сделаем все, что нужно, – сказала Робин то ли из мгновенного к нему расположения, то ли из жалости, то ли из-за того и другого одновременно.

– Вы могли бы проверить, все ли в порядке с моей лавкой?

Лавкой он называл свой книжный магазин. Робин, конечно, согласилась. Она вечно заговаривает с незнакомцами и всегда соглашается им помочь. Она просто не умеет отказывать. Благородная донельзя.

Козимо протянул нам ключи и клочок бумаги с адресом.

– Захудалая лавка, но все же хотелось бы знать, что она еще не развалилась.

Мы сели в такси и закружили по узким улочкам города, пока шофер не остановился и не указал нам на дом в дальнем конце улицы.

– Отсюда уже пешком, – сказал он.

Мы зашагали по переулку и наконец очутились перед старым накренившимся домом. Мы ступили вовнутрь ветхой книжной лавки, в жизнь Козимо и в то, что на последующие четыре года – хотя мы тогда об этом не догадывались – стало нашим домом. Как видите, благородный жест Робин обернулся удачей: когда Козимо выписывался из больницы, он предложил нам жилье.

– Не стоит благодарности, – сказал он. – Вы мне сделаете одолжение.

– Нет-нет, это невозможно, – запротестовала Робин.

– Вы ведь каждый день меня навещали.

Так началась наша жизнь в Танжере, началась, как в чудесном сне, а кончилась, как в ночном кошмаре. Я не в силах рассказать обо всем, что там случилось. Я могу рассказать о Танжере лишь в общих чертах. Если бы меня вынудили окунуться во все подробности, я бы сошел с ума. Странно, но я вспоминаю о нашей жизни в Танжере так, будто речь идет о чьей-то чужой жизни. А переехать в Танжер мы решили, попросту говоря, из-за освещения.

В те дни мы оба были художниками. После окончания художественного колледжа мы недолго путешествовали по Европе, главным образом по Испании, и в конце поездки оказались в Тарифе на Коста-де-ла-Луз. Жить в Тарифе было дешево, нам нравилась тамошняя хипповая атмосфера и возможность писать картины в сияющем свете андалузского побережья. Век подходил к концу, наступление нового тысячелетия мы отпраздновали во время поездки в Танжер и поняли тогда: именно такое место нам и нужно. В Танжере селились люди со всего света, а главное, там было какое-то магическое освещение. Робин бросила писать картины, только когда мы вернулись в Ирландию. После случившегося с Диллоном у нее пропал всякий интерес к живописи. Может быть, живопись для нее была каким-то образом связана с сыном. Она заинтересовала его созданием картин, он как бы тоже участвовал в ее работе. У нас была вольная жизнь, и мы не тряслись над своими полотнами. Если Диллон окунал пальцы в краску и размазывал ее по холсту, нас это ничуть не огорчало. По крайней мере под конец было именно так. Разумеется, вначале мне хотелось работать в уединении, без всяких помех, но когда я понял, что Диллон не столько мешает моей работе, сколько ей помогает, я расслабился и стал позволять ему бросать на мои полотна любую краску, какую ему только заблагорассудится.

Похоже, Козимо нравилось, что в его квартире поселились художники.

– Вот тебе и встали на ноги, – пошутил я с Робин, но после происшествия с Козимо ей эта шутка показалась неуместной.

– Несколько сломанных ребер и какие-то внутренние повреждения, они толком даже не знают какие. И откуда им знать? Жить в Танжере замечательно, но стать пациентом или, как они выражаются, медицинским экземпляром – тут уж увольте.

Козимо говорил с утрированным британским акцентом. Раскинувшись на продавленном диване в нашей квартире и запивая таблетки весьма крепкими коктейлями, он доверительно прошептал нам: «На этом диване был зачат марокканский принц». Мартини был его излюбленным напитком, и мы то и дело слышали, как он требовал вермут.

– Где вермут? А оливки? Где оливки?

Мы были заинтригованы этим эксцентричным, аскетического вида человеком, вечно носившим шелковые штаны и тапочки, его длинные волосы спускались до плеч, однако уже поредели над лбом. Всю неделю, изо дня в день, мы навещали его в больнице, а потом он приехал к нам, чтобы окончательно поправиться.

– Послушайте, оставайтесь... Мы придем к какому-нибудь соглашению.

– Соглашению? – с некоторым сомнением переспросил я.

– О квартирной плате, которая устроит и вас, и меня.

Помню, как в те первые дни нашего знакомства Робин спросила Козимо, давно ли он живет в Танжере. Он смешал очередной мартини и ответил: «С тех пор, милочка, как Бог был ребенком. С тех самых пор».

В такой манере он обычно и выражался. У него была склонность к театральности. Он владел книжным магазином, но, похоже, почти ничего не продавал. Может, он владел им для прикрытия? А может, это было его хобби? Или ему просто надо было чем-то заниматься?

– Даже и не знаю, – ответил он на мой завуалированный вопрос, когда мы беседовали в один из испепеляющих полдней. – Честно говоря, я и сам не помню, когда и зачем я открыл эту лавку.

Квартира была большая, из трех комнат. В самой дальней, там, где мы писали картины, лежала куча пишущих машинок.

– Мне кажется, я когда-то ими пользовался, – сказал Козимо, – а сейчас я их коллекционирую. Должно быть, я ими все-таки пользовался. Возможно, на одной из них я написал книгу.

Он легонько покачал позолоченным мундштуком в стиле Греты Гарбо и бесцеремонно стряхнул пепел на пол.

Танжер. Это был совсем иной, далекий мир. У нас была свобода. У нас был Диллон. У нас было все, чего нам хотелось. Но вернулись мы без Диллона. Правда, и приехали туда мы тоже без него, и все-таки, когда я вспоминаю те времена, мне кажется, будто он был с нами с самого начала. Смеющийся, озорной, необузданный.

Мы много работали, но и радовались жизни. За одним полотном появлялось другое, но дни в Танжере, окутанные дымкой золотистого тумана, текли медленно и лениво, словно были длиннее, чем в других краях. Нам чудилось, будто у нас есть время на что угодно.

Там мы написали наш Танжерский манифест – совместную декларацию свободной жизни. Плакат, прилепленный к стене на кухне. Мы писали на нем лозунги, цитаты, поощрения, напоминания, шутки и услышанные где-то фразы.

«Живопись или смерть»

«Вставай с рассветом»

«Медитируй»

«Бог наградил меня силами вести двойную жизнь»

«Молоко, пожалуйста, молоко!»

Иногда фразы зачеркивались, и над надписью «Начинай писать с первыми лучами солнца» появлялась «Бутылка в 3 и 6 утра! Очередь Гарри!».

Или «Подгузники! Кончились подгузники! Выключили воду!».

Но нередко мы писали просто все, что приходило в голову.

«Кто такой Будда?» И на следующий день тот же, кто задал вопрос, или кто-то другой писал ответ:

«Три фунта льняного семени!»

Оглядываясь назад, я почему-то думаю, что Робин никогда не принимала Танжер всерьез. Возможно, она думала, что он слишком хорош, чтобы поверить в его реальность. Возможно, так оно и было. Вероятно, она думала, что жизнь такой не бывает. Разумеется, ее мать тоже приложила к этому руку. Без конца ей звонила. Просила вернуться домой. Взывала к ее чувству долга. «Отец болен». «Я по тебе скучаю». Или «Как ты, беременная, выносишь такую жару? В таком месте нельзя растить ребенка!». И так далее; мучила ее до тошноты.

Ее единственный визит от начала до конца прошел хуже не придумаешь. Господи, ну что тут скажешь? Начнем с того, что ее рейс задержали. Я должен был ее встретить. Робин получила работу – несколько часов в неделю в баре «У Каида», поэтому она послала меня. Я послушно ждал ее самолет. Рейс снова отложили. Я пошел выпить кофе. Потом пошел выпить что-нибудь покрепче. Самолет приземлился. Мы разминулись. Когда в тот вечер мы наконец увиделись, она со мной уже не разговаривала. Ей не понравилась наша квартира, и, заплатив приличную сумму за такси, она отправилась в четырехзвездочный отель. Весь выходной она прорыдала, умоляя Робин вернуться домой. Я сказал «умоляя», потому что именно так сказала бы она. Я думал, эта женщина найдет общий язык с Козимо, но она сочла его мелким гнусным типом. Именно так она и выразилась. Выходной прошел тоскливо, Робин поехала проводить мать в аэропорт, а я с ней даже не попрощался.

Робин об этом визите почти не упоминала, и мы вернулись к нашей обычной жизни. Но я знал или по крайней мере чувствовал, что Робин тревожили сомнения. Ее мать только добавила масла в огонь. Наша жизнь отличалась от жизни людей среднего класса, которую, по мнению наших родителей, мы должны были вести, но мы делали то, о чем мечтали в колледже. Жить в Танжере было недорого, и денег, которые я заработал от продажи картин на моей первой выставке еще во время учебы в колледже, по моим подсчетам, нам бы хватило

по крайней мере года на три. Такой был у нас план, но через полтора года после нашего приезда в Танжер Робин объявила мне, что беременна.

Не то чтобы для меня это что-то меняло. Я был в восторге. Но когда Робин предложила вернуться в Ирландию, я, мягко говоря, стал возражать.

– Зачем нам возвращаться? – спросил я. – Что такого особенного нас там ждет?

– Семья.

– Твоя семья?

Не так уж трудно понять, почему я не поладил с родителями Робин. Они невзлюбили меня за то, что я увез от них дочь. «Художники должны уезжать», – объяснял я Робин. Она не возражала, и я помню, как долго мы с ней об этом говорили. Она не спорила, однако я продолжал рассуждать об этом даже после того, как мы с ней бежали.

Но я всегда подозревал, что Робин нет-нет да подумывала о возвращении, в то время как я не был уверен, вернусь ли вообще хоть когда-нибудь. Зачем возвращаться?

Фраза «это не лучшее место для воспитания ребенка» подразумевала, что мы были из других мест. Первые годы жизни Диллона прошли в туманной пелене ночных кормлений, бессонных ночей и в прогулках – бесчисленных прогулках в коляске, у меня на руках, у меня на плече, где угодно, лишь бы только мальчик уснул.

Козимо присутствие ребенка озадачивало и завораживало. Он жил совсем близко от книжной лавки в окруженном каменной стеной доме на редкость уединенно, и, хотя мы виделись с ним почти каждый день, он лишь изредка приглашал нас в гости. Нам с Робин это казалось довольно странным, но мы и словом не упоминали об этом в присутствии Козимо. Он был необычайно щедрым человеком и без конца приносил подарки Диллону, однако он нередко бросал на мальчика странные взгляды, как будто впервые в жизни видел ребенка.

– Смешной малыш, – сказал Козимо мне однажды, когда я застал его за тем, что он пускал в лицо Диллону клубы сигаретного дыма. – Ему это не нравится.

И он криво усмехнулся.

– Да, не думаю, чтобы такое могло ему понравиться, – подхватывая игривый тон Козимо, ответил я.

В Козимо было немало загадочного. Откуда он был родом? Откуда у него были деньги? Как выглядел его собственный дом? Почему он проводил столько времени в нашей квартире?

У нас на его счет были свои предположения, но они были всего лишь догадками и не более; и хотя в те времена, я бы сказал, Козимо был моим самым близким другом, мне и сейчас кажется, что я едва его знаю. Возьмем, к примеру, его необъяснимый интерес к оккультизму.

Не помню, как это случилось, но однажды вечером он уговорил меня поучаствовать в спиритическом сеансе. «У меня есть несколько вопросов к умершим», – сказал он. По правде говоря, он почти все время витал где-то в облаках, а я, вероятно, решил пойти на поводу у собственных прихотей. Через Танжер провозили тьму всяких наркотиков, город в них просто утопал. Устраивались вечеринки, на которых были и кокаин, и экстази, и гашиш, – не только все, что пожелаешь, но и все, о чем хоть когда-нибудь слышал краем уха.

– Не думаю, что Робин это заинтересует, – сказал я Козимо.

– Хорошо, устроим сеанс, когда ее не будет дома.

После работы Робин любила прогуляться. Не скажу, что эти прогулки были безопасны или что я их одобрял, но ей хотелось проветриться, ей нравилось любоваться видами города. Нередко она заходила в интернет-кафе и там говорила по телефону. Ей постоянно хотелось общаться со своими родителями. Когда я говорю «постоянно», я не преувеличиваю – она звонила им через день. У меня такой потребности не было. Даже если бы мои родители были живы, я бы так часто им не звонил. Но эти звонки касались одной Робин. В любом случае благодаря ее работе и прогулкам я смог участвовать в спиритических сеансах. Я вспомнил,

что когда-то Йейтс тоже участвовал в спиритических сеансах, и мне пришло в голову, что благодаря неожиданному предложению Козимо у меня могут родиться новые творческие идеи, да и опыт этот может оказаться весьма занятным. К тому же я пребывал в наркотическом дурмане.

Интересно, что перед первым сеансом Диллон заснул у нас в квартире прямо на кухонном столе. Знаю, это звучит странно, но мы жили свободно, непринужденно, без всяких правил. На самом краю нашего большого дубового кухонного стола была выемка, и Диллон время от времени в нее забирался. Я часто клал туда подушку, и поздно вечером Диллон залезал в выемку и там засыпал. Мне кажется, в те дни, когда мы устроили наш первый сеанс, ему было года два. В сеансе участвовали еще две сестры-испанки и местная супружеская пара, с которой Козимо познакомился за неделю до этого.

– А что делать с Диллоном? – спросил меня Козимо. – Ты можешь положить его в кровать?

– Очень не хочется его будить, – ответил я.

Диллон с большим трудом засыпал и плохо спал. В этом было все дело. Даже раньше это не имело ничего общего с прорезыванием зубов, или с резкими скачками в росте, или шумом на улице, с криками разносчиков и зазывал, или с музыкой в доме напротив – всеми этими присущими городу звуками; просто он, как и его отец, плохо спал. Да нет же, еще хуже, чем его отец. Если бы мы повели его к врачам, они, наверное, сказали бы нам, что у него какое-то расстройство. Но мы этого не сделали. Мы мучились. Диллон мог не заснуть часами. Целую ночь. Раньше в колледже мы с Робин были ночными совами, но в Танжере мы ни на минуту не забывали о свете – дневном свете. Нам нужно было как можно больше света. За этим мы туда и приехали. Свет был необходим для писания полотен. Необычный, изумительный свет Танжера и его сияние. И его туманное прошлое.

Но нас донимала усталость. Из-за недосыпа я пропускал утренний свет, и это сводило меня с ума. Я стал принимать таблетки: то одни – для того, чтобы держаться на ногах после бессонной ночи, то другие – для того, чтобы ночью уснуть, а потом на рассвете поймать огненный свет для моих картин. У Козимо был целый шкафчик таблеток. А еще был пенал, в который он складывал для себя запас на неделю. Добрый старик, он снабдил меня всем, что мне хотелось, или, вернее, тем, что, он считал, мне понадобится. Разумеется, Робин я об этих таблетках не сказал ни слова. Но чтобы писать, чтобы утром быть готовым к работе, я должен был высыпаться. Как я, изможденный от бессонницы, мог браться за работу?

Сначала я попробовал снотворное. В половине двенадцатого ночи я принял таблетку и проспал до семи утра. Робин ничего не заподозрила. Она была счастлива, что я наконец-то отдохнул.

– Если бы и мне удалось так поспать, – сказала она. – Диллон полночи глаз не сомкнул.

Когда же недосыпание стало сказываться на Робин – она похудела и под глазами у нее появились темные круги, – я решил, что вместо того, чтобы предлагать ей снотворное, я дам четвертинку таблетки нашему малышу. Тогда она, возможно, выпится. Я раздробил таблетку и бросил несколько крошек в стакан теплого молока. Они растворились, и Диллон их даже не заметил. Я знаю, мне не следовало этого делать. Но мне тогда казалось, будто это делает кто-то другой. В моем мозгу чей-то голос шептал: «Дурная идея, очень дурная идея, прекрати!», но другой Гарри – тот, который ходил по дому, разговаривал с людьми, занимался делами, – тот Гарри, пропустив мимо ушей эти слова, подсыпал сыну снотворное. Диллон проспал всю ночь – проспал как убитый, и когда наутро он проснулся с веселым возгласом и довольной улыбкой, я подумал: «Здорово! Все обошлось. Я не причинил ему никакого вреда».

А потом каждый месяц мы стали проводить спиритические сеансы. Козимо удалось связаться со своим двоюродным прадедушкой и с другом детства по имени Альберт, кото-

рого он в свое время мог спасти и не спас. Теперь вся эта история меня озадачивает, но тогда наши сеансы казались вполне осмысленными, а может быть, мне просто хотелось в них участвовать, и я старался ни о чем особенно не задумываться. То есть я, например, не задавался вопросом, почему мы не проводим эти каверзные сеансы в куда более удобном и просторном частном доме Козимо. Однако в тот первый вечер все получилось довольно спонтанно. В любом случае в тот день Козимо больше всего хотел связаться – и я не шучу! – со своей самой любимой в детстве собачкой – биглем. Именно так мы и называли наши ежемесячные сборища – «Орден золотого бигля». Сейчас оно звучит нелепо, но тогда это комичное название нас забавляло и казалось еще одним поводом для поздних вечеринок. Робин никогда в них не участвовала, и даже если она о чем-то догадывалась, я никаких подробностей наших сверхъестественных сборищ с ней ни разу не обсуждал.

Я не давал Диллону раскрошенную таблетку каждый вечер. Так далеко я не зашел. Но я давал ему снотворное чаще, чем мог бы, чаще, чем следовало, и теперь я это понимаю. Я признаю свою вину, хотя признаться в этом Робин смелости у меня не хватило. Кажется, я давал Диллону снотворное раз в месяц. Козимо же скоро убедился, что спящий на столе ребенок – другими словами, Диллон – залог успешного спиритического сеанса. И так, когда приближалось время сна, я, почитав сыну книжку – он любил истории из «Нарнии», особенно рассказы об Аслане, – давал ему выпить стакан молока с растворенной четвертушкой таблетки и перед приходом «Ордена золотого бигля» укладывал его на дубовый стол. Козимо даже произвел Диллона в почетные члены нашего ордена и принес для него специальную подушку с вышитым на ней названием ордена, и в эти ночи именно на ней Диллон и спал.

А потом мы начинали сеанс. В основном всякая ерунда: мы брались за руки, что-то шептали. Одна из испанок – кажется, ее звали Бланкой, – была нашим медиумом. Интересно, предложила она это сама, или ее выбрал Козимо? Я уже точно не помню, но как бы то ни было, она взяла на себя эту роль. Мне помнится, как она что-то бормотала и просила нас закрыть глаза, а Козимо в это время заново зажигал свечи, погашенные порывом сухого ветра, продувающего город. Оглушительный шум из окна порой становился невыносим: шаги прохожих, громкие разговоры, гудки автомобилей, рев моторов. Потом случилось нечто странное. Во время сеанса вторая испанка вдруг начала выть. Я не помню ее имени. Козимо тоже стал выть. «Не разрывайте круг, – сказала Бланка. – Не разрывайте круг». Но было уже поздно. Все дружно вскочили с мест и теперь переминались с ноги на ногу, испытывая настоящую потребность в напитке покрепче.

– Я почувствовал, – провозгласил Козимо. – Почувствовал что-то мощное.

– Вам не следовало разрывать круг, – повторила Бланка.

Но сеанс закончился, и мы снова принялись за выпивку. У Козимо была отличная коллекция пластинок. У него был прекрасный старый проигрыватель в форме старинного граммофона, и после сеанса Козимо обычно перебирал свои пластинки с классической музыкой и джазом. Но случившееся в тот вечер сильно его впечатлило, объяснял Козимо, наливая вино нам в бокалы, и тогда я вместо него наклонился над проигрывателем и стал менять пластинку.

Козимо бросил на меня настороженный взгляд. Хотя теперь эта комната была нашей, моей и Робин, Козимо считал, что хозяин пластинок исключительно он. Козимо посмотрел на меня с некоторым подозрением и попросил хорошенько обдумать свой выбор. А потом зазвучала музыка. Мы танцевали и болтали. В тот вечер мы поставили пластинку с песней «Выключи звезды». Помню, как, закрыв глаза, я покачивался из стороны в сторону, подчиняясь ее тягучему, убаюкивающему ритму. Эта песня мне запомнилась и по другой причине: она звучала в нашей квартире в тот день, когда я в последний раз видел Диллона.

Мальчик спал, уткнувшись головой в вышитую подушку, которую до этого унес в свою комнату. Он лежал тихо и неподвижно, длинные темные ресницы были плотно

сомкнуты. Ручки, закинутаые за голову, тонкие ноготочки на маленьких пальчиках – Диллон казался таким беззащитным. Я посмотрел на сына, и от любви к нему все внутри защемило.

Потом я по глупости побежал к Козимо, и вдруг началось губельное землетрясение. И все это время в голове у меня звучала эта мелодия: медленный джазовый ритм – музыкальный фон к моей панике, пожарам, свисту газа, летящей пыли, падающим зданиям и моему неистовому бегу назад домой.

В тот вечер, когда это случилось, Робин работала допоздна. Парадоксально, но в ту неделю или, вернее, в тот месяц Робин переменилась: ее сомнения и тревоги постепенно рассеялись. Она все больше и больше склонялась к тому, чтобы остаться в Танжере. Конечно, не навсегда, но на какое-то время, на то время, пока я не подготовлюсь к своей новой выставке, той, которую я назвал «Танжерский манифест». Это был день рождения Робин. Во время ее обеденного перерыва мы коротко поговорили по телефону. Обычный разговор. Как мы могли предвидеть трагедию, что подкарауливала нас за углом, трагедию, которая стала центром нашей жизни? Потом Робин, наверное, вернулась в бар и продолжала обслуживать горстку собравшихся там посетителей; наверное, кое-кто из них вслух обратил внимание на то, какое напряжение разлито в странно неподвижном воздухе. А потом начались тряска и суматоха, появились толпы испуганных людей, зашатались здания, взвились в небо пламя и дым. И тогда она, наверное, побежала по улицам мимо аптеки, лавки кожаных изделий, прачечной, спустилась к булочной – и тут увидела меня.

Я говорю «наверное», потому что, если честно, я не в состоянии вспомнить, как в действительности все было. Провалы в памяти. Шок, ужас, паника, страх, изумление, горе – все смешалось и парализовало мой ум, черной пеленой затянув финал того вечера, как будто кто-то погасил даже звезды.

Я помню лишь то, как Робин ровно, спокойно спросила меня: «Где Диллон? Гарри, где он? Где Диллон? Где наш сын?»

И это все. Чем завершилась та ночь? Не могу вам сказать, потому что этого я не знаю.

Но позвольте сказать вам то, что я знаю точно, – мне теперь снится один и тот же сон. Я прошу Диллона закрыть глаза. Он не спит. Я уговариваю его заснуть. Рядом со мной его теплое тельце. Мы лежим рядом в его детской кроватке. Мы в Танжере. Диллон обнимает меня за шею. Из его подушки выпало перышко и застряло у него в волосах. Я включаю настольную лампу рядом с кроватью. «Закрой глаза», – говорю я ему, и в тусклом свете лампы я вижу, что глаза у него закрыты и он наконец-то уснул.

А потом я просыпаюсь.

Глава 6. Робин

Спустя два дня я стояла на кухне у своей старинной подруги Лиз и прислушивалась к тому, как в соседней комнате она разнимала двух орущих шестилеток, сцепившихся, очевидно, не на жизнь, а на смерть. На полу возле моих ног четырехмесячная Шарлотта что-то бормотала себе под нос и сосала палец. По ее нагруднику обильно лились слюни. Она с любопытством следила за тем, как я завариваю чай, и слушала, как мать кричит на ее братьев.

– Черт побери, Айзик! Если мне придется еще раз вас разнимать, я отберу у вас эти световые сабли и выброшу! Поняли?!

С усталым раздражением на лице Лиз вернулась на кухню, а из комнаты ей вслед доносился шепот недовольных голосов.

– Господи, дай мне сил! – подойдя к столу и плюхнувшись на стул напротив меня, театральным тоном воскликнула Лиз. – И какой черт меня дернул купить эти световые сабли?

– Чего только не натворишь с недосыпа.

Затишье в соседней комнате оказалось недолгим – несколько мгновений спустя малолетние джедаи вернулись к схватке, но на этот раз Лиз не двинулась с места.

– Пусть прикончат друг друга, – сдаваясь, проговорила она.

– Что поделаешь – мальчики! – наливая ей в чашку чай, сочувственно сказала я.

– Все их игры сводятся к одному: как бы убить друг друга?! По крайней мере у моих мальчишек всегда одно и то же.

Мы с Лиз были знакомы уже не первый год. Мы вместе учились в школе, наша дружба выстояла подростковые годы – когда ее тянуло к готической субкультуре, а меня – к богемному стилю и чтению запоем, – а потом учебу в колледже, где я изучала живопись, а она – историю. Пока я жила в Танжере, она вышла замуж за Эндрю, они купили большой дом в Маунт-Меррион, и у них родились сначала сыновья, а потом Шарлотта – пухленькая большеглазая малышка, которая, не обращая никакого внимания на потасовки братьев, только и делала, что улыбалась и урчала.

– Хочешь печенье? – протягивая Лиз открытую пачку «Рич Ти», спросила я.

– Брось. На холодильнике лежит «Тоблерон».

Я потянулась за гигантской плиткой шоколада и присвистнула.

– Ну и размеры. Да этой штуковиной можно прибить ребенка.

– Не внушай мне, пожалуйста, подобных идей! – рассмеялась Лиз и добавила: – Эндрю принес ее мне, чтобы помириться.

– Помириться?

– У нас тут во вторник была гигантская ссора. Он обвинил меня в том, что мне куда интересней смотреть «Анатомию страсти» и попивать вино, чем заниматься с ним сексом.

– И он прав?

– Конечно, черт возьми, он прав, но я не собираюсь в этом признаваться. К тому же дело вовсе не в этом.

– А в том...

– У меня трое детей, все они моложе восьми! У двоих из них, я подозреваю, СДВГ¹, или синдром Аспергера, или еще черт знает что! А младшая будит меня каждую ночь – не один раз! – и требует ее кормить. Чего же он от меня ждет? Что я весь день только и мечтаю о том, как буду ублажать его в постели? Господи! Да мне хочется только одного – спать.

¹ Синдром дефицита внимания и гиперактивности. – Здесь и далее примеч. пер.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.